

СТЕПАН КАРЕЦКИЙ

ГРАНИЦА ХОЛОДА

книга первая

ЗИМНИЙ ПОЕЗД



Степан Карецкий

Зимний поезд

«Автор»

2026

Карецкий С.

Зимний поезд / С. Карецкий — «Автор», 2026

2034 год. Мороз удерживает «стоящих» и позволяет последним поселениям русского Севера выживать. Получив радиосигнал, который может принадлежать его пропавшей дочери, машинист Михаил Савин ведёт поезд на юг, к Кирову. Дорога через мёртвые города открывает страшную закономерность: у заражённых есть свой распорядок, а зима, на которой держится безопасность Севера, постепенно отступает.

© Карецкий С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. СТОЯЧИЕ	6
Глава вторая. СОРОК ТРИ МЕТРА	10
Глава третья. УГОЛЬ И СОЛЬ	13
Глава четвёртая. НИНА БАРСОВА	17
Глава пятая. ДЕПО	20
Глава шестая. СОВЕТ ПЕЧОРЫ	24
Глава седьмая. ОТПРАВЛЕНИЕ	29
ИНТЕРЛЮДИЯ I	32
Глава восьмая. ПЕРВАЯ НОЧЬ	33
Глава девятая. ВЯЗКИЕ	36
Глава десятая. ПЛОХО СПЯТ	39
Глава одиннадцатая. 07:40	42
Глава двенадцатая. САНЬКА	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Степан Карецкий

Зимний поезд

ЗИМНИЙ ПОЕЗД

Глава первая. СТОЯЧИЕ

Стоячих на тридцать восьмом километре оказалось сорок три. Спиридон посчитал их ещё из будки, по путевой привычке — парами, как шпалы, — и озвучил для протокола. Кузьмич за рычагами услышал, кивнул и прибрал ход. «Малыш», старый гусеничный тягач с будкой, которую грел собственный выхлоп, съехал с насыпи на обочину и лёг там, урча, как большая печь.

Мороз стоял сухой, рабочий: минус тридцать четыре. В полдень небо на юге серело до цвета незамёрзшей воды — самое большее, что декабрь позволял себе показать. Солнце сюда больше не вставало. Оно ушло, как уходят все, — по своим делам, до середины января.

До сетки оставалось шагов сто. Стоячие выстроились вдоль неё неровной очередью, будто к закрытой кассе: кого развернуло боком, кого повело вперёд, и он так и застыл, лбом в проволочку. За осень и начало зимы иней одел каждого в шубу, и издали очередь казалась строем снежных людей — чистых, тихих, почти мирных. Мороз делал с мёртвыми то, чего не сумели ни армия, ни пожарные, ни все молебны поморья: он их останавливал.

— С Богом, — сказал Спиридон и откинул дверцу.

Он стукнул каблуком по ступеньке, спрыгнул в снег — сухой, скрипучий, зовущий под валенками. За ним выбрался Егор: девятнадцать лет, длинный, в телогрейке, перешитой с чужого плеча так, что рукава пришлось отпускать дважды. Михаил вышел последним и по своей схеме: спиной вперёд, левым плечом к миру.

Егор молча обошёл его и встал слева. Дважды стукнул костяшками по его каске — попаровозному: внимание, я на твоём глухом боку.

Правила чистки Михаил знал наизусть и всё равно повторял каждый раз, потому что правило живёт, пока его повторяют.

— Первое. Стоячий — не покойник, — сказал он. — Покойник — тот, кого сожгли. Второе: за тридцать — работаем спокойно, на двадцати — багром, ближе к десяти — уезжаем. Третье: не наклоняться над лицом. Даже сегодня. И последнее.

Он стянул рукавицу и показал левую ладонь — розовую от печного тепла будки.

— Руки — как камень, и держатся камнем. Кто поймает себя на «терплю, нормально» — в будку, без разговоров. Обморожение начинается со слов «да я нормально».

— Да я нормально, — серьёзно сказал Егор.

— Вот ты-то и первый кандидат. Иди за крюком.

Волокуша — широкий санный возок на полозьях — стояла на санях «Малыша»: бидоны с соляркой, мешки опилок, штабель старых шпал, два длинных крюка и багор с противовесом. Прохор с Кузьмичом, жёгщики, съехали следом на своих санях и сразу пошли готовить место: в сотне метров севернее, за переломом насыпи, чтобы дым тянуло ещё дальше на север — в пустоту, где нет никого, кроме ветра и неба.

Михаил с Егором пошли вдоль очереди.

Первого — мужика в шахтёрском ватнике, с заплатой на локте, аккуратной, заводской, — сняли в четыре руки. Стоячий врос в землю по щиколотку — его прихватило намертво ещё в ноябре. Рывком за ворот — тело подалось с деревянным звуком, коротким, как отлом прибитой гвоздями планки. Правило кузьмичовской школы: рвать за ворот, не за руки. За руки нельзя: руки остаются в руках.

— Легче, чем в октябре, — отметил Егор, когда они укладывали мужика на волокушу. — Сухой совсем.

— Мороз сушит, — сказал Михаил. — В феврале они как пни. Пяток таких за раз унесёшь.

— А внутрь что?

— Ничего. Выморозилось всё. Он теперь чистый, как шпала.

Егор покосился на мужика — уже без ужаса, с тем профессиональным любопытством, которое заменяет молодым страх, пока не заменит что-нибудь ещё, — и поправил рукавицу.

К третьему десятку руки сами делали работу: зацеп, рывок, укладка, возок, штабельная площадка, обратно. Тела были лёгкие, высушенные, пахнувшие снегом и ничем. За сорок три штуки — без малого четыре ходки. Михаил работал и в такт работе, между рывками, вёл свою вторую, параллельную, опись — в тетради в клеёночной обложке, которую держал во внутреннем кармане, у самого тела.

Тетрадь он вёл четвёртый год. Двести одиннадцать записей.

Он останавливался у каждого, на несколько секунд, читал одежду, обувь, заплаты — всё, что могло сказать, откуда человек шёл и по какой дороге. Карандашом, потому что чернила замерзают:

«38-й км, 11.12. Мужчина 50–60. Ватник, заплатка заводская — интинский комбинат. Кирзачи не по ноге».

«Женщина 30–40. Джемпер фабричный, олени на груди, „северный завоз“. Воротник пришит от другого платья. Сумка пустая, кожаная треснула».

«Юноша. Кроссовки городские, подошва переклеена дважды — шёл долго. Значок музыкальный, эмаль сколота».

Внизу страницы, своим мелким почерком: «Подход к сетке — под утро. Седьмой раз подряд».

Зачем он это делал, Михаил не сказал бы и сам. Спиридон знал про тетрадь и молчал. Однажды, три года назад, он сказал только: «У каждого обходчика своя сетка-улавливатель. У тебя вот эта». С тех пор — молчал.

Зимой на перегон приходили в основном интинские: город наверху, по линии, пал в прошлую зиму, и его мёртвые всё шли и шли на север — вдоль самой нитки, по старой своей дороге, к дыму, к тёплой стороне, кто их знает, — пока их не прихватывало. Южных — настоящих южных, из-за Ухты, из-за Вятки — было мало, единицы, и этих Михаил описывал дольше, с обеих сторон, словно от поворота фотографии зависит больше, чем от подписи.

— Этой осенью их к сетке привалило вдвое против прошлогодного, — сказал за спиной Спиридон, ни к кому, в воздух. — Идут и идут.

На предпоследней ходке, когда на волокуше оставалось место для четверых, Егор вдруг остановился у конца очереди и позвал:

— Михаил Палыч. Тут... глянь.

Михаил подошёл.

У самой сетки, спиной к проволоке, сидел мужчина. Не стоял — сидел, вытянув ноги, примёрзший к земле и к сетке сразу. На коленях у него, в обнимку, свернувшись, как спят дети в дороге, лежала девочка лет шести. Он держал её обеими руками — одна на спине, другая на затылке, — и они промёрзли так вместе, одной глыбой, ещё в ноябре. Снег на них лежал общим одеялом, только два лица и оставались снаружи: мужик подбривший, с сединой, девочка в шапочке с помпоном.

Помпон был из настоящей лисы. Такие носили на юге, когда юг ещё существовал.

Проход с Кузьмичом подъехали, посмотрели. Кузьмич сплюнул сквозь зубы, примерился крюком — привычно, под мышцу мужчине, чтобы разять глыбу на две перевозные части.

— Не надо, — сказал Михаил.

Кузьмич остановился, крюк в руке.

— Миш, на штабеле ровнее ляжет. Нешто не видишь — единая заливка, только и возни...

— Не надо, — повторил Михаил тем же голосом, каким останавливают состав. — Так и сожгите.

Пауза была короткая. Кузьмич посмотрел на Прохора, Прохор — на Спиридона. Спиридон стоял чуть поодаль, у саней, и ничего не говорил; потом снял шапку — зачем-то, на морозе, — и надел обратно. Этого хватило.

— И то верно, — сказал Кузьмич и опустил крюк. — Вместе быстрее отойдут.

Их положили отдельно от общего штабеля, на собственные шпалы, не разнимая, — как лежали, так и перенесли, на двух баграх, бережно, как переносят мебель. Михаил не смотрел, как их несли. Он стоял лицом на юг, где небо серело сильнее всего, и растирал правую руку, на которой от мороза перестал чувствовать большой палец. Просто растирал. Просто палец.

Розжиг сделал Прохор — как всегда, хирургически: опилки, потом соляра тонкой струёй, «поить, не топить», потом факел на длинной ручке. Огонь встал сразу, весь, в полный рост, и в серых сумерках полярного дня наступила первая за день настоящая ночь — рыжая, трескучая, живая.

Очередь уходила в неё по двое. Пообедать до вечера предстояло сорока трём.

Егор смотрел на огонь во все глаза — молодой, из тех, кто ещё не выучил, что на пожар в поле смотреть скупо. Спиридон окликнул его:

— Не глазей. Насмотришься — в темноте хоть глаз выколи. Глаза к огню прикипают.

— Так все же смотрят, — не согласился Егор.

— Все, — согласился Спиридон. — Потому и прикипают у всех. Только ты знай, а не верь.

Смысла в этих словах Егор не понял, но кивнул: Спиридону не спорили, у Спиридона спрашивали. Сам старик устроился на полозьях волокуши лицом к огню и сидел так неподвижно, лицом в жар, спиной в мороз, — по-стариковски, экономно, обе стороны разом.

Пахло зимой и соляжкой, и больше ничем: настоящий мороз высушивает всё, что могло бы пахнуть. Тела не горели — дотлевали до состояния, после которого остаётся только чёрное пятно на снегу, которое весной заметёт. За спиной, в глубине поля, стояла тишина такого размера, какого не бывает в южных краях: не пустая тишина, а полная, как полный бак. Если долго слушать, начинало казаться, что слышишь, как падает иней.

— Жгём до заката, — сказал Спиридон, не оборачиваясь. — Кто не догорел — дожигаем. В потёмках у огня не стоим.

— Солнца нету, какой закат, — сказал Егор.

— Закат есть всегда. Мы просто его не видим.

Своих двоих — отца с девочкой — положили в огонь последними, отдельной кладкой, и Прохор подлил им соляры отдельно, от себя, без счёта. Михаил стоял поодаль, подняв ворот, и ждал, пока пламя возьмёт шапочку с помпоном. Потом отвернулся и пошёл к «Малышу», первый.

Обратно шли на север уже в полную темноту — если не считать двух часов, которые полярный день ещё вымаранивал серым по краю юга. В будке было тепло, сладко, по-домашнему пахло соляжкой и мокрой шерстью. Кузьмич вёл, Прохор дремал. Егор уснул сидя, свесив голову, и во сне был похож на подростка — какой он и был. Спиридон сидел у окна и смотрел на редкие огни: переезд, километровый столб, семафор — гирлянда живого мира, натянутая в чёрном.

Михаил не спал. Он смотрел туда же, но не видел: в голове, с привычностью старого дизеля, крутилось своё — счёт на завтра, развод стрелок, талоны, очередь в кочегарку. Обыденная, зазубренная жизнь, в которой не было места ничему, кроме расписания. Он умел так: выключать и держать выключенным. Двадцать лет стажа.

Воркута поднялась из тьмы, как всегда, неожиданно — заревом низкого неба и угольным духом. Город пах углём и мокрым железом; это был домашний запах, если у кого-то ещё водились дома. На станции горели три фонаря из семи, и от этого станция казалась ещё длин-

нее. «Малыш» уткнулся в торец депо, и из будки вывалились все, кроме Егора — его подняли последним, за плечо, по-семейному.

— Савин!

У раздевалки его ждал Ким, радист «Маяка Севера»: маленький, полуслепой, в очках, залепленных по краям изолентой от бокового света. Ким шурился в сторону Михаила с нетерпением человека, который уже полдня репетирует, как скажет.

— Зайди, — сказал он. — До дому всё равно не отпущу.

— Устал, Ким.

— Вот именно. Такой слушают только уставшим. Или трезвым, но таких не осталось.

Радиорубка была маленькая, тёплая до духоты: лампа под зелёным колпаком, катушечник, самописец, стена с расписанием частот, банка чая. Ким усадил его на табурет, сам сел к приёмнику, как садятся за рояль.

— Вторые сутки беру один цикл, — говорил он, прогревая лампы. — С юга, сорок три метра. Время появления рваное, таймеры его не берут. На одиннадцатой прогонке сложилось: повтор. Цикл короткий, минут сорок, и внутри — голос. Женский, молодой. Я в эфире двадцать лет, Миша. Я слышу возраст так же, как ты слышишь боковую кривую.

— Включай, — сказал Михаил.

Ким нажал клавишу.

Сначала был только шум — ровный, вселенский, из тех, что на Севере зовут «тундрой». Потом сквозь него прошла помеха, затем другая, третья, и между ними, на несколько секунд, открылся голос — далёкий, тонкий, как сквозь вату:

«...Савин... воркутинский... машинист...»

Снова шипение, длинное. Потом — морзянка, чужая, служебная, крупными знаками, легла поверх и отрезала всё.

Лентопротяжка крутилась. Ким не двигался. Михаил сидел на табурете посреди тёплой духоты радиорубки, и лицо у него было обычное, только рука — правая, обмороженная днём на большом пальце — медленно, как под водой, стянула рукавицу и легла на колено.

— Ещё раз, — сказал он. — С начала.

* * *

Глава вторая. СОРОК ТРИ МЕТРА

Второй прогон записали от щелчка до щелчка — сорок минут на катушку, — и человеческого голоса в нём набралось восемь секунд. Ким был доволен.

— Случайность — это три секунды, — сказал он. — Восемь — это метод.

Работал он как аптекарь: пустил ленту на самом медленном ходу, слушал по слогу, карандашом ставил галки на полях журнала приёма. В рубке по-прежнему духотило, чай в банке был уже третий, и за стеной, в депо, всю ночь негромко стучало железо — ночная смена меняла бандажки на «тётушке». Михаил сидел справа от динамика: Ким пересадил его одним движением ладони, без слов, и был прав.

— Голос молодой, — говорил Ким, не отрываясь от ленты. — Женский. Детский я отличу по дыханию, у детей дыхание короче. Взрослый. Двадцать с гаком.

Асе шёл двадцать первый.

Мысль пришла и встала, как встаёт на пути вагон: без толчка, но с громом. Михаил смотрел на ползущую ленту и думал, что пять лет без вестей подходят и под «взрослый», и под «никогда». Оба ответа одинаково хорошо ложились на восемь секунд голоса.

До следующего цикла оставалось больше получаса, и Ким полез в тумбочку — за грелкой. Солевой мешочек, тряпочка, всё как положено.

— Давай сюда руку.

— Нормально.

— Я вижу, что нормально. Большим пальцем ты сейчас чай не выльешь, а крюк не возьмёшь. Давай.

Михаил дал. Палец не разгибался, костяшка была твёрдая и чужая. Ким пристроил грелку, прихватил обмоткой, посмотрел вверх очков.

— В депо двадцать лет сижу, — сказал он. — Помню, кто уходил эшелонами и кто дождался.

— Дочь, — сказал Михаил. — С матерью, в двадцать девятом. Остались на юге.

— Понял, — сказал Ким и больше ничего не спросил.

Третий прогон дали в четверть второго. Ионосфера подняла: голос вышел дольше, на одиннадцать секунд, и ближе — как будто из соседней комнаты, а не с того света.

«...Михаил...»

И ещё, ниже, сквозь шум:

«...если жив...»

Ким остановил ленту. Помолчал, глядя в журнал.

— Фамилию пишут, когда зовут многих, — сказал он наконец. — Имя пишут, когда боятся, что фамилии не хватит. Он назвал тебя по имени, Миша.

— Она.

— Она, — согласился Ким без выражения и начал перематывать.

Потом он встал, снял трубку внутреннего телефона и покрутил ручку так решительно, как звонят только свои.

— Теплицы? Дежурную Барсову — в радиорубку депо. Да. Разбудите. Скажите: юг подал голос.

— Ты её знаешь? — спросил Михаил.

— Знаю. Грибница. Профессорша из теплиц, которая третий год всем прожужжала, что юг не пуст. Совет её не слушает, обход посмеивается. Умом она повёрнута на своих грибах, а памятью — на чужих бумагах. Если этот сигнал — то, что я думаю, нам нужен человек, который умеет читать между строк. Даже между радиостроками.

Барсова пришла через двадцать минут — в ватнике поверх халата, в платке, в ботинках, белых от извести. От неё пахло теплицей: сырой землёй, паром и угольной теплотой. Очки подмерзли и запотели сразу, она сняла их и повесила на верёвочку.

— Где журнал? — вот и всё приветствие.

— Вот.

— Время появления пишете?

— Время рваное.

— Рваное тоже пишете. Рваное — это тоже расписание, просто для другого часа.

Она села на второй табурет, кивнула Михаилу — мельком, как кланяются в проходе, — и стала ждать цикла, сложив известковые руки на коленях. Ждала она молча и терпеливо, как ждут люди, у которых в теплице сорок кустов и ни один не сорвётся.

Четвёртый прогон начали вместе.

Шум — «тундра», как зовут его на Севере. Помеха. Ещё помеха. Потом голос, тонкий, ватный, на этот раз длинный, — и слова пошли одно за другим, как зубья сломанного гребня:

«...Михаил Савин... воркутинский... машинист... если жив... у старого...»

И дальше — то, чего не было ни разу:

«...моста...»

Морзянка легла поверх, крупная, служебная, отрезала, как ножницами ленту. Цикл кончился. Стало слышно, как тикает самописец.

Мост.

В Кирове, где жила бабушка, куда увезли Асю после развода, был старый пешеходный мост через Вятку — у слободы, весь в заклёпках, гудящий под ногами. От бабушкиной квартиры до него было десять минут шагом. Ирина водила Асю туда кормить чаек — в те два лета, когда он ещё приезжал к ним мириться.

Если это юг. Если это Киров. Если.

Три «если» подряд. Михаил поймал себя на том, что задержал дыхание.

— Повторите последние три секунды, — сказала Барсова.

Ким прокрутил трижды. Она слушала с закрытыми глазами, губы двигались беззвучно, догоняя.

— Теперь то, что его гасит, — сказала она. — Морзянку. Переводите мне вслух.

Ким взял карандаш и стал диктовать сам себе с ленты:

— Начало каждый раз одинаковое: два, восемь, ноль. Дальше группы — каждый раз разные. Конец одинаковый: семь, ноль, семь.

— Перечитайте начало.

— Два. Восемь. Ноль.

Барсова сняла очки с верёвочки, надела, снова сняла. Потом медленно положила руки на стол.

— Это не моряки, — сказала она. — Не вече и не служба пути. Это объектовый формат. Адресная передача по спискам. Так работали с корреспондентами, у которых нет позывного — только номер. Я такой формат видела. Один раз в жизни. В бумагах.

— Откуда у грибницы такие бумаги? — спросил Ким без улыбки.

— Из старых ящиков, — сказала она. — Я читала то, что никто не читает. Простите, точнее не скажу. Пока.

Ким посмотрел на Михаила. Михаил смотрел на лентопротяжку. За стеной депо стукнули молотом — раз, другой, — и стук пошёл куда-то по рельсам, затихая.

— Есть и другое, — сказала Барсова. — Слушайте, как оно устроено. Спасаящийся человек кричит «помогите» — и всё. У него нет сил на фамилии. Здесь фамилия. Город. Профессия. Теперь имя. Это не зов о помощи.

Она помолчала, собирая следующую фразу.

— Это приглашение. Тот, кто запустил цикл, звал не вообще. Он звал конкретных. Вопрос — кого.

Никто не ответил. Ким снял очки и долго протирал их полкой свитера, глядя в стол.

— Машина это крутит, — сказала Барсова уже тише, глядя на Михаила. — Не человек. Носитель повторяет голос — сам голос записан раньше, когда и где, я не знаю. Я привыкла сперва мерить, а жалеть потом. Отвыкла в обратном порядке. Простите и это.

— Если это она, — сказал Михаил, — то она была у моста живой. Когда-нибудь. Когда писали это.

— Если это она, — сказала Барсова, — то тем более надо снять цикл целиком, до последнего щелчка, а не слушать его глазами отца. Холодный слух дольше греется. Утром всё должно лечь на стол Совета: лента, журнал, расшифровка, морзянка. До утра — ни слова за пределами этой рубки. Ни жене, ни куму, ни обходу.

— Тут все свои, — сказал Ким.

— Поэтому и ни слова.

Она придвинула журнал к себе, послушавила карандаш — по-стариковски, не стесняясь, — и вывела в шапке страницы: «Цикл №4. Время: 2:17. Фрагменты: Михаил Савин, воркутинский, машинист, если жив, у старого моста. Поверх — объектовая морзянка: 2-8-0 / группы / 7-0-7».

— Теперь расписание рваного времени, — сказала она. — Пять, десять, двадцать прогонов — и станет видно, дышит ли их появление. Если дышит — значит, есть закон. Если есть закон — значит, есть и место, где этот закон написали. Я это место найду. Мне только нужно...

— Тридцать восемь минут, — сказал Ким, глядя на часы. — До следующего.

— ...тридцать восемь минут, — согласилась Барсова и подняла глаза на Михаила. — Остаётся?

Михаил взял карандаш левой рукой — правая была занята грелкой, большой палец уже отходил и ныл — и в столбце «Наблюдатель» вывел свою фамилию. Буквы вышли ровные, машинистские.

— Остаюсь.

За стеной, в депо, ночная смена взялась за железо, и стук молота пошёл по рельсам на юг — туда, откуда голос. Обратно, под утро, по этой же нитке приходят другие.

* * *

Глава третья. УГОЛЬ И СОЛЬ

К семи утра рубка перестала быть тайной.

Никто не разболтал — просто так устроен анклав: если ночью с теплиц гонят человека, если радист снимает трубку и говорит «разбудите», если машинист Савин не идёт домой, — к утру это знает каждая котельная. К семи у депо уже стояли две бабы с ведрами, которые «случайно проходили мимо», и Ким, выходя, сказал им только одно слово: «Ждите». Они и ждали — до самого Совета, переминаясь, как перед орденским списком.

Большой палец к утру отходил. Грелка остыла, рука гудела, но слушалась. Михаил умылся снегом у колонки, пожевал горбушку из тумбочки Кима и почувствовал себя старым ровно настолько, насколько положено машинисту после суток без сна.

В Совет решили нести не расшифровку — катушку. Голос должен был звучать сам, без переводчика: бумага врёт вежливо, а лента — как есть. Аппарат тащили через двор втроём — Ким, Михаил и второй радист с подмены, — и у дверей ДК Нина придержала Михаила за рукав.

— Про дочь — ни слова, — сказала она тихо, не глядя. — Я знаю, что думаю. И ты знаешь. Но как только это станет историей про дочку, оно перестанет быть историей про юг. У Совета на дочь нет топлива. У Совета на дочь нет даже жировки. А у флота — тем более.

— А если спросят, почему зовут меня?

— Скажи правду, только не всю. Ты умеешь. Я за два часа поняла — ты умеешь лучше всех, кого знаю.

Молчать Михаил умел давно. Врать он не собирался; просто не собирался говорить лишнего.

Зал Совета — бывший ДК шахтёров, колонны, потолок в два этажа, печи по углам. Скамьи старших: дворовые, угольные, обходные. От Усинска и Сосногорска — по проводу: чёрная трубка лежала на красном сукне и по временам доносила дыхание. Председатель Совета Мезенцева, бывший отдел кадров комбината, женщина с лицом протокола, стучала карандашом по графлёной папке. На отшибе, отдельной скамьёй, сидела флотская топливная комиссия — третий день в городе: двое в бушлатах и майор, которого Михаил раньше не видел. Майор сидел спокойно, сложив руки; торопиться ему, похоже, было некуда.

— По регламенту, — сказала Мезенцева. — Барсова. Факт без толкования. Толкование — после.

Нина говорила четыре минуты. Откуда цикл, какая волна, сколько прогонов, что в голосе, что в морзянке. Ни слова про институт, ни слова про свои грибы — только факты, ровно, как гвозди. Потом Ким поставил катушку.

Голос прошёл по залу — тонкий, ватный, из другого мира:

«...Михаил Савин... воркутинский... машинист... если жив... у старого... моста...»

Морзянка отрезала. Ким остановил ленту.

Стало слышно, как в печи оседает уголь. Бабы у входа — их, кажется, всё-таки впустили греться, а выпустить забыли — одновременно перекрестились.

— Монтаж, — сказал кто-то с задних скамей. — Ленту подделает любой радист.

— Ленту — да, — согласился Ким. — Прохождение — нет. Эфир нельзя подделать, его можно только поймать. Поймал — распишись. Я расписался: журнал на столе, тридцать одна запись за двое суток.

Трубка на сукне хрипнула, и усинский старшина заговорил из неё глухо, как из погреба:

— У нас в тридцать первом «юг жив» стоил четырёхсот человек. Четыреста гробов не вырыли, потому что не хоронили — сжигали. Спросите у Усинска, жив ли юг. Мы отвечали. У нас ответы огнём подписаны.

— Запишем как мнение Усинска, — сказала Мезенцева и постучала карандашом. — Толкование. Кто первый.

Первой поднялась Нина, но её опередил майор.

Он встал — неторопливо, без звука, — и голос у него оказался тихий и полный, как у учителя в старших классах, который никогда не повышает голоса, потому что никогда не теряет нити.

— Разрешите представиться: майор Дымов, флотская топливная комиссия. Мы в вашем городе третий день, считаем ваш уголь, благодарим за чай. Докладываю факт, без толкования, как велит регламент: ваш маяк флотский пост взял раньше вас. Сутки назад. Расшифровка — у меня.

Он положил на сукно листок — сухой, аккуратный, с промокашкой.

— Флот не возражает против разведки. Флот настаивает на сопровождении. Печора пойдёт на юг — на полторы тысячи вёрст, зимой, по мёртвой линии — без флотского конвоя это будет не разведка, это похороны с музыкой. Мы дадим людей, оружие, шифры и потребуем одно: отчётность. Всё найденное — в общий стол. Наука — науке, флот — флоту.

Он сел. Михаил смотрел на него и думал, что за четыре минуты флот согласился на то, против чего должен был бы воевать месяцами. Согласившийся так быстро уже что-то решил для себя. Или ему уже сказали, что решить.

— Савин, — сказала Мезенцева. — Поднимитесь. Голос зовёт вас. Почему машиниста Савина, а не пекаря Савина?

— Не знаю, — сказал Михаил. — Скажу, что знаю. Машинистов с моей выслугой на Печоре — как стоячих у сетки. Если звать по профессии, которая довезёт, — это моя профессия.

По залу пошёл тихий смешок — короткий, того сорта, что живёт на Севере: смех, которым люди отсчитывают страх.

— Голос женский, — сказал старик с угольной скамьи, не спрашивая, утверждая. — Молодой.

— Молодой, — сказала Мезенцева в протокол.

— У всех тут кто-то остался, — сказал старик уже тише, и зал сделал вид, что не услышал, потому что услышали все.

Дошло до цифр. Тут поднялся Кабанов — он сидел не среди старших, а сбоку, на стуле для приглашённых, весь вечер молчал и грыз семечки почти по-домашнему. Возраст он носил как ватник: свободно, с достоинством, не тужась. Встал — оказался ниже, чем казался сидя.

— Солярка есть, — сказал он. — Двадцать тонн, две цистерны, голова колонны. Есть пути, есть крюки, есть зимники с подводами. Всё это у меня есть, и всё это лежало бы, как лежало, если бы не ваш голос из ящика. Теперь — цена. Цену я говорю один раз, и не здесь.

Он сел. Зал выдохнул. Мезенцева постучала карандашом, но, прежде чем она успела начать про регламент, трубка на сукне хрипнула снова — Сосногорск, третий голос за утро, молодой и злой:

— А спросить, кто будет платить за эти двадцать тонн? У меня на январь жировки урезаны на четверть. Вы там в Воркуте слышали радио, а у нас дети в валенках взрослых ходят. Экспедиция!

— Экспедиция — это когда едут за тем, что есть, — сказал Кабанов в зал, не вставая. — А когда едут за тем, что, может быть, есть, — это авантюра. Я торгую первым. Вторым я не торгую, вторым я плачу из своего. Старшие знают.

Мезенцева записала и это.

Решили, как всегда решает Совет: ничего не решить и всех поделить. Комиссии — топливной посчитать, научной обосновать, обходной прикинуть линию. Срок — до пятницы. Голос — в общий стол, копия — в Мурманск, «в порядке союзного информирования». Стар-

шие разошлись печь топить и талоны выдавать. Флотская комиссия ушла первой — Дымов на выходе придержал дверь для Нины, вежливо, как в давно не существующем мире, и что-то сказал ей, короткое. Нина ответила одним словом. Михаил не расслышал ни того, ни другого: правым, единственным слышащим ухом он в этот момент слушал печь.

— Он согласился за четыре минуты, — сказала Нина в коридоре, догнав Михаила. — Флот. На южный рейд. За четыре минуты. Флот не соглашается за четыре минуты даже на баню. Значит, им это зачем-то нужно — раньше нас и помимо нас. Я это в протокол не сказала. Протокол — факт без толкования.

— А куда ты сказала?

— Тебе. Куда ещё.

Кабанов позвал Михаила после полудня, через посыльного — мальчика в угольной пыли, который прибежал в депо и выдал сообщение по слогам: «Ка-ба-нов. Ждёт. Сей-час».

Контора снабжения стояла при старом складе — низкая, тёплая, с довоенными весами и гирей, начищенной до сырого блеска. Пахло соляркой, мешковиной и почему-то яблоками. Кабанов пил чай, держа стакан в обеих ладонях и выглядел так, будто сидит здесь с начала времён и с этого же стула торговал ещё при шахтном тресте.

— Садись, машинист. Чай есть, сахару нет. Сахар, если забыл, теперь тоже юг.

Михаил сел. Кабанов придвинул ему стакан — без сахару, но крепкий, копчёный, какой умеют только на складах.

— Не буду ходить вокруг. Ты слышал зал. Зал хочет чуда, Мезенцева хочет протокола, флот хочет своего, усинцы хотят, чтоб всё сдохло и не приходило. А я хочу знать, что лежит на юге, — и это единственное желание в городе, за которое я плачу вперёд. Двадцать тонн. Цистерны. Подводы на зимниках. Моя цена — место в колонне.

— Зачем тебе место?

— Затем, что там, на юге, склады. Фабричные этажи, реагентные ангары, спиртовые заводы, — перечислял он, как читают опись, — и всё это стоит под снегом пятое лето и ждёт, пока за ним придут. Первым придёт флот. Флот привезёт флаг и составит опись, и после этой описи юг станет флотским. Мне нужен в поезде человек с моими глазами и моей памятью. Не доверяешь моим глазам?

— Не знаю твоих глаз.

— И не узнаешь. Глаза приедут отдельно, — Кабанов усмехнулся в стакан. — Теперь второе. Смотри.

Он выдвинул ящик стола и достал полевую книжку в целлофане — распухшую, с двумя резинками крест-накрест. Полистал. Подал Михаилу раскрытой.

Список. Фамилии, столбиком, на каждой странице — сверху дата, сбоку город. «Ищет: Прохорова, Котлас. Прохорову Лиду, 12 лет». «Ищет: Наговицын, Сосногорск. Брата, Ухта, депо». «Ищет: кто угодно, кто видел состав 11/29, Воркута — Киров». Страницы шли и шли.

— Веду с двадцать девятого, — сказал Кабанов. — Кто с юга пришёл — тот сам всё узнал, ему книжка не нужна. А кто здесь остался ждать — тем надо, чтобы фамилию повезли. Платят по-разному: сахаром, рукавицами, сном у печи. Я беру, потому что цена у всех одна, Миша: узнать. Ты думаешь, я торгую? Я торгую. Но эту книжку я повезу бесплатно, на своём горбу, и флот её в опись не увидит.

Михаил смотрел на строку «состав 11/29» и не двигался. Кабанов смотрел на него внимательно, оценивающе.

— Места в поезде нет, — сказал он наконец. — Места нет нигде, я проверял: ни в Совете, ни у флота, ни в книжке. Но у поезда бывает хозяин. Хозяин — ты?

Молчание вышло длинное. За стеной склада пересчитывали мешки — шуршали, кидали, считали вполголоса, и на этом фоне молчать было почти легко.

Кабанов кивнул сам, будто услышал «да», и убрал книжку в ящик.

— До пятницы, машинист. Комиссии посчитают. Мы все посчитаем. А ты пока подумай, что везёт хозяин: груз или счёт.

За окном конторы, над депо, вставал пар — город дышал углём, ровно, без остановок. Михаил вышел в этот пар и зашагал, не разбирая дороги, и правая рука, замёрзшая за минуту разговора, сама собой спряталась в рукавицу — туда, где ещё держала тепло грелки, которого уже не было.

* * *

Глава четвёртая. НИНА БАРСОВА

Грибы Нина Барсова любила за честность. Гриб не улыбается, не обещает и не подписывает рецензий: он либо растёт, либо нет, и по тому, как он растёт, читается всё — земля, вода, тепло и ложь. Люди вели себя иначе, и за шесть лет после конца мира Нина не нашла в этом ничего удивительного: мир кончился не из-за грибов.

Записку она оставила Михаилу утром, в шкафчик депо, — четыре слова и подпись: «Теплицы. В восемь. Одна не справлюсь. Б.» К четырём словам она шла дольше, чем к любой своей теореме, — и Михаил, найдя записку, почувствовал себя так, будто его вызвали не в теплицу, а на переключку.

Вечером он шёл через город по санному следу, и город дымил ему навстречу: трубы, жар, угольная пыль на губах. Теплицы стояли у ТЭЦ прижавшись, как дети к печке, — стеклянные, запотевшие, светящиеся изнутри ровным жёлтым светом. Снег на крышах стоял на два аршина вокруг каждой — единственные проталины в Воркуте, круглые, тёплые, живые.

Внутри пахло землёй, паром и огуречной ботвой. Лампы висели на цепях, гудели ровно, как трансформаторы, и под ними на столах, ящиках и просто мешках жили журналы — в целлофане, перевязанные, распухшие от записей. За дальней грядкой, в старом ватнике поверх халата, стояла Нина и что-то писала, упиравшись планшеткой в живот.

— Разуваться не надо, — сказала она, не оборачиваясь. — Садись на ящик. Ящик чистый.

Он сел. Она дописала, воткнула карандаш за ухо и повернулась — домашняя, запаренная, с зелёным пальцем от ботвы. Такую её Совет видел два раза в год, и оба раза зря.

— Ты едешь? — спросила она вместо всего.

— Меня ещё никто не позвал.

— Меня тоже. Мы с тобой, Миша, сейчас как эти грибы: пока сидим под лампой — можем не расти, а температура вокруг нас уже другая. Я позвала тебя не об этом. Я позвала тебя извиняться. Не перебивай, у меня это плохо выходит, я лучше сразу.

Она стянула рукавицы, села напротив на перевёрнутое ведро и положила руки на колени — известка, заусенцы, обкусанный ноготь большого пальца.

— В двадцать восьмом году я подписала бумагу. Одна страничка: «тема закрыта, актуальности не имеет, фондовых рисков не усматриваю». Рецензия на записку моего учителя. Записка была про старые биохранилища — про то, что мерзлота греется и кое-что из законсервированного пора перехоронить по-человечески, пока не само. Учитель собирал материалы тридцать лет. В приложениях шла ведомственная переписка, старая, ещё с семидесятых, — про перевозки, контейнеры, пломбы. Я её листала и запомнила чёрточки морзянок, как запоминают чужой почерк. Те самые чёрточки. Два-восемь-ноль.

Она сказала это ровно, глядя ему в ворот, а не в глаза.

— Подпись была дешевле спора. Мне было тридцать два, у меня был грант и теплица, а у записки — ни шанса: её и писать-то не должны были, её терпели. Через год, осенью двадцать девятого, тема перестала быть закрытой. Она стала открытой у всех. Учитель не дожил до «я вам говорил» — умер в тридцатом, в Сыктывкаре, в очереди за водой. Ему, если честно, повезло.

Лампа над ними гудела. Где-то в трубах далеко и мягко бултыхала вода.

— С тех пор я вожу это, как камень за пазухой, и работаю. Мониторю воду, снег, штольневую флору — всё чисто, слышишь? Всё чистое. Наша мерзлота ни при чём: заразу к нам не с севера принесли. Значит, принесли мимо нас — по линии, на юг, туда, где она и лежала. Я это доказывала шесть лет по чайной ложке. А вчера один майор согласился со мной за четыре минуты, и я не спала ночь, потому что за четыре минуты не соглашаются — за четыре минуты

докладывают, что уже согласовано. Так что вот: я виновата, я еду, и ты должен знать, с кем едешь. Всё. Теперь можно перебивать.

Михаил сидел на ящике в чужом тёплом мире под лампами и думал, что слово «извиняюсь» она выбрала правильно: не «простите». Извиняются — как отчитываются.

— Что он тебе сказал вчера? В дверях.

— Майор? — Нина усмехнулась одними углами. — «Наука — науке, доктор. Но у науки тоже есть начальник». Вежливо. И знаешь, что самое скверное? Это не угроза. Это констатация.

— И что ты ему ответила?

— «Начальник тоже не вслух читает». Он не понял. И хорошо.

Она встала, повесила планшетку на гвоздь и накинула бушлат прямо на халат.

— Пошли. Извиняться я закончила. Теперь — работа. Ночью, потому что днём у меня теплицы, у тебя депо, а бумага ждала сорок лет — подождёт и до темноты. И вот ещё: у меня предписание с печатью, у тебя — глаза машиниста. Ты будешь читать железку. Я — даты.

Архив жил в бывшем управлении дороги — двухэтажном, каменном, с гранитным порогом, стёртым за семьдесят лет до ложбины. Сторож с фонарём покрутил предписание, сверил печать, посветил Михаилу в лицо — не в бумагу, в лицо, как положено, — и пустил, сказав только: «Полной лампы не жгите. Стеллажи до потолка, а потолок старый».

Внутри был тот холод, который любят книги: сухой, застоявшийся, без запаха. Ряды уходили в темноту — корешки, корешки, корешки, и на верхней полке самого дальнего ряда белели пакеты, завернутые в ветошь, — довоенные, никому не нужные. Михаил шёл между стеллажей, как идут по родному двору, задевая плечом знакомые углы: тут книги записей, тут подшивки телеграмм, тут грузовые.

— Мне семидесятые и восьмидесятые, — сказала Нина. — Книги отправлений грузового двора. И всё, что с пометой «спец».

— «Спец» — это не помета, — сказал Михаил, снимая рукавицу. — Это отдельная жизнь. Спец — значит, не через двор: без вскрытия, без взвешивания, под пломбу, в адрес, которого нет на карте. Ты ищи даты, я буду искать дорогу.

Работали молча. Бумага пролежала сорок лет в нетопленном зале и пролежалась: страницы гнулись, как жесть, и не рвались. Нина вела журнал — время, шифр дела, полка, строка. Михаил листал книги отправлений и читал железку, как читают родную речь: вслух, только губами.

Через час у него накопилось семь строчек. Он переписал их на листок и положил перед Ниной.

— Смотри. Семь отправлений за девять лет. Раз в год, раз в полтора. Всегда одно и то же: спецконтейнер, станция отправления — разъезд при буровой, Печорский бассейн. Станция назначения — не станция, а «передача»: один и тот же ящик, юг. Вагон подают, пломбируют, ведут с осторожной ездой. И всё. Ни весов, ни наименования груза: графа заполнена словом «культура».

— «Культура» — это в их бумагах не про искусство, — сказала Нина тихо. — Это про пробирку.

— Даты, — потребовал Михаил.

Она наложила свой журнал на его листок — строчка к строчке, ногтем.

— Идут ровно после отчётов бурения. Закончили проходку — через месяц-два уходит контейнер. Семь раз. Как сдача смены.

Они посмотрели друг на друга, и в этом взгляде было то самое сопоставление, ради которого не спали: линия от буровой на юг работала как часы, десятилетиями, и никто из живых об этом не знал.

— Теперь двадцать девятый, — сказала Нина. — Осень.

Осень двадцать девятого года Михаил помнил телом: эшелоны, эшелоны, приоритеты, свист, «освободить первый путь». Он взял ту книгу сразу и на секунду задержал руку на обложке.

И нашёл.

Не отправление — заявку. Корешок служебной заявки, поданной на дорогу в сентябре двадцать девятого: вагон-ледник, спецпартия. Станция отправления — разъезд при буровой, их север. Получатель — передача при институтском ящике, юг. Маршрут — по их линии, через их узел. Графа наименования груза была заполнена от руки, старательно, двумя словами: «культура К-34». И приписка карандашом, поперёк графы: «утилизация».

— Последняя смена, — сказал Михаил медленно. — Пятьдесят лет это раскладывали по северным ледникам — а осенью двадцать девятого забирали. Свозили в одну точку, на юг. Утилизация. И шло через наш узел. Через мой свисток, если хочешь.

— Куда свозили? — спросила Нина, и голос у неё сел до шёпота. — Назови точку.

— Точка не станция. Передача, ящик. — Он провёл пальцем по корешку, по тёмному, вписанному от руки городу. — Киров.

Лампа мигнула — где-то в городе переключали. В темноте, на полсекунды архивный зал стал просто холодным залом, в котором двое стоят над листком бумаги.

— Киров, — повторила Нина не вопросом. — Город у ленты. Маяк, ящик и мой стыд — по одной рельсе, Миша. Я двадцать четыре часа не смела сказать это вслух: объективный формат я видела в приложениях учителя, а приложения переписывались с одним и тем же адресатом. Кировским. Я шесть лет искала хранилища в Коми — под носом, в своих краях. А надо было читать дорогу. Дорогу, — она кивнула на него, как сдают экзамен, — читают машинисты.

Михаил смотрел на корешок и не слышал её последних слов. Осенью двадцать девятого по его линии, через его руки, его свистки, шёл вагон-ледник с чужой утилизацией — и он, весь тот год возивший северные составы, не мог вспомнить его и понимал, что не вспомнит: спецвагонов тогда ходило много, у всех были приоритеты, у всех были пломбы. Это не была его вина. Это была его рельса.

Киров. Город, куда он пять лет не решался думать по линии. Город жены и — если голос на сорока трёх метрах не врал — живой.

— Что теперь? — спросил он.

— Теперь пятница, — сказала Нина. Она уже писала, быстро, в своём журнале, — и почерк у неё впервые за вечер был не лабораторный, а живой, торопливый. — Комиссии, цифры, Мезенцева. Мы поедем не за голосом и не за складами, и флот поедет не за конвоем, и Кабанов — не за соляжкой. Мы все поедем к ящику. Только никто, кроме нас двоих, ещё не знает адреса, — она подняла глаза, — и я не знаю, кому отдать его первым: Совету или майору. Это тоже надо решить до пятницы.

Она закрыла журнал, перетянула резинкой и вдруг, по-человечески, потеряла озябшие руки — в архиве на выдохе пара было видно.

— Одно скажу сейчас, тебе. Если то, что под замком в этом ящике, холоднее нашей зимы — нам нельзя опаздывать. Мерзлота греется, Миша. Я это знаю по грибам. Гриб — вещь честная.

Сторож уже спал у входа, сидя, с фонарём в остывающей руке. Они вышли на мороз, и Воркута стояла вокруг стеклянно-чёрная, вся в дыму и звёздах, и над ТЭЦ, над единственными тёплыми проталинами города, поднимался пар — как дыхание, которое нельзя остановить.

* * *

Глава пятая. ДЕПО

Список Михаил начал с того, что вычеркнул самое сильное.

— Тёгушку? — Егор смотрел на замазанную колонку, как на кощунство. — Она же... она тысячная.

— Она для большой дороги, — сказал Михаил. — А большой дороги больше нет. Большая дорога хочет хода и разгона, а нам придётся то и дело останавливаться: щупать, слушать, копать. Нам нужен не силач. Нам нужен работяга, который умеет стоять и ждать.

Он пошёл вдоль стойла, где под потолочным фонарём стоял «Зубр» — пузатый, обшарпанный ТЭМ2 с приваренными по бортам уголками, с бороздой от капота до кабины, с кабиной, перебранной из двух. Пять лет этот тепловоз пахал в сорока тонких местах воркутинского хозяйства: раскатывал угольные подачи, вытягивал снеговые заряды, таскал воду и чужие поломки. Он был стар, некрасив и прав.

Михаил обошёл его, как обходит лошадь перед дальней дорогой. Постучал костяшками по колёсным парам — по каждой, сверху и снизу, на счёт. Приложил ладонь к буксам: сухо. Продул тормозную магистраль, послушал, как магистраль дышит, — ровно, без свиста в стыках. Влез на канаву, поглядел снизу рычаги: «Вторую слева переставить», — сказал сцепщику, и тот, не споря, ушёл за болтами.

В десять завели дизель. «Зубр» взял с третьего раза — с пол-оборота, басом, с синим дымом из трубы, и весь деповской двор повернул головы: три года в Воркуте не слышали, чтобы что-то заводилось так — не просилось, а соглашалось.

— Слышал? — спросил Михаил у Егора.

— Слышал.

— Это не рёв. Это дыхание. Ревут, когда боятся. Запомни, как он дышит: на линии тебе это дыхание будет вместо часов.

Состав собирали весь день, и весь день состав был не поездом, а спором — только спор шёл не голосами, а порядком.

Первой, под буфером, встала платформа-таран: старый полувагонный портал, изнутри — пакет шпал под клин, уголки наварены в два слоя, чтобы рубить и отжимать то, что попадётся на стыке. Потом «Зубр». Потом крытый вагон — люди и документы. Потом вагон-гарь, с печью и трубой, обложенной кирпичом. Потом цистерны — две, пузатые, с кабановскими пломбами. Потом, в хвосте, ещё одна платформа-таран, зеркальная первой.

— Зачем сзади? — спросил Егор. — Мы же вперёд...

— А назад? — сказал Михаил. — Дорога мёртвая, разворотов нет, тупик — на каждом разъезде. Обратно пойдём тем же составом, тем же концом. Тараны — с обеих, гарь — посередине: тепло ест равнее, и приманка — одна, а не две.

— Печь — она же и зовёт, — сказал Спиридон, стоявший у ворот с термосом. Он пришёл к выезду, как приходят на проводы. — На чистке костёр греет нас и смотрит на них. Тут то же самое, только костёр на колёсах.

— Поэтому в печь гари — уголь, не дрова, — сказал Михаил. — Уголь дымит суше и выше, и труба у гари выше кабины. Пусть нас видят издали те, кому всё равно, и не чувствуют близости те, кому не всё равно.

К полудню депо начало наполняться людьми, которых Михаил не звал.

Первым пришёл мичман — рослый, с лицом, которое забыло, что бывает другое выражение, и с листом под мышкой. Гроза, представился он, флот, сопровождение. Михаил прочёл лист: шесть человек, два карабина, старшина дозора — и отдельной строкой, вежливой, как всё флотское: «старшина — в кабине локомотива, для координации».

— В кабине двое, — сказал Михаил, возвращая лист. — Машинист и помощник. Места нет.

— Кабина просторная. Я видел чертежи.

— Кабина просторная, а воздух в ней тяжёлый. У меня глухой левый бок, мичман. Мне в кабине нужен тот, кто слышит с обеих сторон. У меня есть такой.

Егор, стоявший у тележки с ломами, выпрямился.

Гроза посмотрел на него, на Михаила, записал что-то карандашом.

— Старшина — на передней платформе. Дозор.

— На передней платформе, — согласился Михаил. — Только дозор дозору рознь: на ходу не стрелять. Звук по рельсу уходит на вёрсты, и идёт он быстрее вас. Стрелять будете, когда я скажу, и в то, что я скажу.

— Это требует согласования.

— Это требует пятницы, — сказал Михаил. — В пятницу Совет говорит «да» или «нет». До пятницы мы чиним поезд, а не воюем за него.

Гроза ушёл — не согласившись и не споря. Михаил подумал, что флотское умение не спорить, наверное, самая дорогая вещь в их хозяйстве, и самая дорогая — для тех, кто рядом.

Нина пришла со своим списком — на двух листах, с колонками веса.

— Микроскоп, двенадцать килограммов. Ящик образцов, пустые кассеты, полевые журналы в трёх экземплярах, реагенты — десять, лупа, весы...

— Микроскоп — нет, — сказал Михаил.

Нина посмотрела на него поверх очков, и в этом взгляде было полтора года отчуждения между теплицей и депо.

— Ты понимаешь, что без оптики я везу глаза, которые не видят?

— А я понимаю, что двенадцать кило — это двадцать километров хода. Каждый килограмм — это топливо, Нина, а топливо — это чья-то жировка. Разбери его.

— Что?

— Микроскоп твой — моноблок? Значит, стойка отдельно, тубус отдельно, зеркальце отдельно. Стойку — в гарь, к печи, тубус и объективы — в твой тулуп. Шесть кило вместо двенадцати. Оптика едет с тобой, железо — с железом.

Нина секунду смотрела на него, потом села на ящик, разложила свои два листа и начала перечёркивать и переписывать, шевеля губами. Через десять минут она подняла голову.

— Журнал находок, — сказала она. — Так, чтобы ты слышал сейчас, и потом не говорил, что не слышал. Журнал находок веду я. Одна рука, один почерк. Копии — по договору, оригиналы — с поля, в моём ящике. Если флот в пятницу напишет иначе — пусть ищет себе другого дурака с грибами.

— Услышал, — сказал Михаил.

Дымов появился под вечер, когда в депо уже зажигали фонари, — один, без Грозы, с деревянным ящиком, который нёс сам, легко, как носят вещи, о которых заранее знают, что их возьмут.

— Рация, — сказал он. — Поездная, флотская, с питанием от ходовой части. Плюс четыре полярки — костюмы, в них спят в дозоре. Плюс сухой паёк на неделю, это не гостинец, это норма. Считайте, проверяйте.

Егор вскрыл ящик и стал считать, громко, с наслаждением.

— Связь — кровь экспедиции, — сказал Дымов. — Один сеанс в сутки, шифры — флотские. Это не придирака, машинист: юг не любит болтунов.

— Шифры будут у Кима, — сказал Михаил. — И сеансы — по нашему расписанию, не по вашему. Ким — радист «Маяка», двадцать лет в эфире. Ваша рация в его руках стоит вдвое дороже, чем в ваших.

Было тихо. Где-то в глубине депо стучал молот, и «Зубр», уже заглушенный, остывал рядом, пощёлкивая железом.

— Разумно, — сказал Дымов наконец, и голос его был ровный, учительский. — Флот просил только одного: не оставаться глухим. Вы не останетесь. Я доложу, что договорились.

Он кивнул Нине — «доктор», кивнул Михаилу — «машинист» — и ушёл, и Михаил так и не понял, отдал он ему что-то или просто поставил на место свою вещь. И это непонимание было хуже спора, и Михаил отогнал его, как отгоняют сквозняк: делом.

Кабанов в депо не пришёл — пришёл его коновоз: с утра подали цистерны, краном, с пломбами, и с цистернами прибыл лист, в котором против каждой бочки стояла графа «возврат». Железо вернуть. Солярка — ваша, железо — моё. А к листу прилагалась записка, короткая, с нажимом карандаша: «Под товар — полплатформы. Соль. У Усы сойдёт. У.»

— Соль? — спросил Егор.

— Соль, — сказал Михаил. — У кочевников за соль покупают оленей, дорогу и молчание. Не вопрос «что», вопрос «сколько». — Он ответил на записке коротко — «четыре тонны» — и отослал с тем же водителем.

Список тем временем оброс ещё двумя именами — кабановскими, в конце, мелким почерком: «свой, два человека, грузчик и учётчик». Михаил долго смотрел на эти два имени, потом одно вычеркнул. Одно оставил. Решать после пятницы.

Тестовый выезд назначили на послеполуденное тепло — если минус тридцать можно называть теплом. Шли коротким составом: таран, «Зубр», гарь. За пультом — Михаил, рядом Егор, за спиной — Спиридон, в гари — сцепщики с башмаками. Двор, семафор, кривая — и перегон, знакомый до шпалы.

На тридцать восьмом прошли мимо сетки-улавливателя: чёрное пятно понедельничной чистки, ровное, лишь тронутое по краю. На сорок первом дорогу приняла кривая, и Михаил взял её на разгоне — «Зубр» пошёл, как по линейке, — а потом, у склона, дал полное служебное: состав сел на тормоз мягко, всей массой, без лязга, и замер.

— Тормоз — есть, — сказал Егор счастливым голосом. — Идёт?

— Идёт, — сказал Михаил и вдруг сказал: — Стоим.

Он смотрел на путь. Спиридон уже смотрел туда же — стариковским способом, всем лицом.

Следы шли вдоль насыпи, метрах в десяти от рельса, с юга на север — нечёткие, оплывшие, тронутые позёмкой. Не звериные. Не оленьи. Такие следы оставляет то, что идёт шагом, не разбирая дороги, — ровно, сутуло, бесконечно, пока не возьмёт морозом.

— Давно? — спросил Егор тихо.

— До большого, — сказал Спиридон, наклоняясь над ямкой. — Тёплым окном прошли. В прошлые годы в это время они тут уже камнем стояли, а тут гля: прошли после снега, после ноября. — Он выпрямился, повёл плечами, как будто поправил на себе невидимый ватник. — Зима-то злая нынче, а рваная. Схватит — отпустит — схватит. Рвано тканю, Егор. С такой зимой весь уговор: поехали — пока держит.

Михаил ничего не сказал. Он сошёл на насыпь, прошёл по следам метров тридцать, вернулся. И уже садясь в кабину, у самой кривой, увидел валенок.

Он лежал в снегу у шпалы, носком на юг — маленький, детский, серый, с самодельной завязкой. Снег вокруг был цел, и валенок не был занесён: его тронуло позёмкой только пятку. Этой осенью. Никак не раньше.

Михаил стоял над ним долго. Потом поднял, отряхнул, понёс в кабину и положил на полку, к приборам, — молча, тем же движением, каким кладут на полку путевое распоряжение.

— Может, с вышки унесло? — неуверенно сказал Егор. — Скворцовская вышка близко, ребяташки там...

— Может, — сказал Михаил.

Он не сказал, что скворцовскую вышку снесли ещё в тридцать втором, и что сам он в это «может» не верит. Спиридон не сказал ничего — он вообще разучился говорить лишнее раньше всех них.

— По местам, — сказал Михаил. — Домой.

«Зубр» толкнул состав, кривая приняла их, как принимала всю жизнь, и до самой Воркуты в кабине молчали: слушали, как дышит машина, и как по рельсам, обгоняя их, уходит на юг обратный стук.

* * *

Глава шестая. СОВЕТ ПЕЧОРЫ

В четверг вечером зал Совета собрался второй раз за неделю — и на этот раз со списками.

Списки были разные: топливная комиссия принесла свой, в клеточку, с подсчётами до последней бочки; обходная — карту, свёрнутую трубой и перетянутая бечёвкой; научная — фанерный планшет со стеклом, под которым лежали два пожелтевших корешка. Нина несла планшет перед собой, как носят свечу, и Михаил, шагавший рядом через двор, видел, что стекло запотело от её дыхания.

День прошёл в пересчётах. Топливная комиссия с утра просидела на складе Кабанова и вышла оттуда мрачнее, чем вошла; обходная дважды гоняла «Малыша» до сорок первого и обратно; научная — то есть Нина — переписывала доклад четыре раза, а пятый выучила наизусть, потому что бумага в зале имела свойство читать себя не так. К вечеру всё было готово, и все были недовольны — как всегда перед дальней дорогой.

У Михаила был свой лист — людской список, переписанный за ночь трижды и начисто утром. Днём он вычеркнул из него сцепщика Вахонина: старик пришёл сам и попросил — «не бери, Миша, у меня невестка на сносях, человек я для дальней дороги непутёвой ценности». Внизу листа Михаил оставил одну строку пустой: было одно место, о котором он ещё не решил, как о нём думать.

— Что скажешь? — спросил он тихо.

— Всё. Обоим сразу, по одному разу, — сказала она. — Я пересказывать в коридорах не умею. У меня или всё сразу, или молчу.

— А если зал не одобрит?

— Зал не одобрит в любом случае. Вопрос, что он запишет в протокол.

Снег шёл с вечера — крупный, мягкий, липкий. Плечи Кима, шагавшего впереди с журналом под мышкой, блестели, как смазанные. Михаил смотрел на это блестящее и не мог вспомнить, чтобы в декабре Воркуты снег когда-нибудь лип.

В зале всё стояло как в прошлый раз: скамьи, красное сукно, чёрная трубка от Усинска и Сосногорска. Дымов сидел на прежнем месте, отдельной скамьёй, сложив руки. Кабанов — на стуле для приглашённых, сбоку, старательно занимая как можно меньше места, хотя места он в этом городе занимал много. Спиридон пришёл слушать и стоял у печи, как стоят обходчики: спиной к теплу, лицом к дверям. Зал набивался медленно и по-зимнему основательно: снимали рукавицы, дышали на очки, рассаживались по своим — за пять лет скамьи выучили хозяев не хуже людей. Печи гудели в двух концах, и между ними, в среднем холоде, висел тот особый воркутинский воздух — уголь, вакса, мокрая шерсть и что-то ещё, для чего нет слова. Баб с ведрами на этот раз не пустили, но они стояли за дверью, и дверь от этого была тёплая.

В тамбуре, у буржуйки, топтался Егор — не приглашённый, а прибившийся: в новой телогрейке, с молотком на поясе, как на праздник. Увидев Михаила, он вытянулся.

— Ты зачем? — спросил Михаил. — Список готов.

— Я это... провожать, — сказал Егор и покраснел до ушей. — И вообще — я же в списке.

— В списке, — согласился Михаил. — Тогда тебе тут нечего тереть. Иди спать: машинисту помощник нужен свежий, а не праздничный.

Егор ушёл не сразу — сначала ещё раз посмотрел на дверь зала, за которой усаживались старшие, как будто примеривал её на будущее. Потом ушёл.

Мезенцева постучала карандашом.

— По регламенту: комиссии — факт. Потом условие. Потом голос. Докладывающие — стоя. Вопросы — после всех.

Топливную комиссию докладывал старик с угольной скамьи — тот самый, что в прошлый раз сказал про голос «молодой». Он говорил коротко и мрачно, как докладывают шахтёры:

— Двадцать тонн, две цистерны, норма на колонну — счёт по листу. Туда — идём с резервом в четверть. Обратно — не идём. Топлива на круг не хватает ни при каком ветре. Обратный ход — только если найдём горючее на юге, на линии. Где и что — неизвестно. Всё.

— Запишем: обратное топливо — на линии, объект неизвестен, — сказала Мезенцева и посмотрела поверх очков на зал, чтобы все поняли, что это не фраза, а арифметика.

Молчали скамьи по-разному: угольные — мрачно, обходные — понимающе, а дворовые — тяжело, потому что у половины зала родня кончалась не здесь, а там, на юге, и слово «обратно» они слышали по-своему.

Обходную докладывал Спиридон. Он не пошёл к столу — говорил от печи, не оборачиваясь, и это почему-то звучало веселее, чем если бы он стоял.

— До Инты — дорога наша, хоженная. Дальше — по книгам и по памяти. Мосты не знаю. Зимы не знаю. Идти надо, пока держит. Всё.

— А мосты? — спросили с задних скамей. — По книгам-то выдержат?

— Мосты не по книгам держатся, — отозвался Спиридон, не оборачиваясь. — Мосты по зимам держатся. А зима нынче — сами видите. Считать буду на ходу, на глазах. Всё.

— Ким. Связь и погода, — сказала Мезенцева.

Ким встал, раскрыл журнал.

— Рация поездная, ключи воркутинские, сеансы — два в сутки: полдень и полночь. Флотский канал — по договору, отдельной волной. Теперь погода. — Он перевернул страницу. — Третий южный циклон за месяц. За пять прошлых зим — ни одного в декабре. Такого декабря не помнит и самый старый из нас. Всё.

— У меня от таких циклонов крыши текут, — угрюмо сказал старик с угольной скамьи, уже не для протокола. — А у вас, выходит, рельсы.

— Флотская метеослужба даёт окно до середины января, — сказал Дымов с места, негромко, как говорят в хорошо знакомой комнате. — Флот гарантирует прогноз. Погоду не гарантирует никто.

— Запишем без толкования, — сказала Мезенцева. — Научная. Барсова. Стоя.

Нина встала и положила планшет на сукно, стеклом к залу.

— Два документа, под стеклом, выемка из архива по описи, у меня расписка. Первый: серия накладных, семь штук, с тысяча девятьсот семьдесят восьмого по восемьдесят шестой. Раз в год-полтора спецконтейнер уходит с буровой Печорского бассейна на юг, получатель — передача при закрытом ящике, наименование груза — «культура». Даты уходят следом за отчётами бурения. Второй документ — корешок заявки, сентябрь двадцать девятого года. Вагон-ледник, спецпартия, груз — «культура К-34», приписка от руки: «утилизация». Маршрут — с буровой, через наш узел, на юг. Пункт — передача при том же ящике. Город — Киров.

Она выпрямилась и сняла очки — совсем как тогда, в радиорубке.

— Всё, что я знаю про адрес, сказано. Чей ящик, что за культура, кто жив и кто запустил маяк — не знаю. Еду узнавать. Всё.

Стало тихо так, что в тишине слышно было, как за дверью переминаются бабы.

Тихо было ровно столько, сколько нужно, чтобы каждый успел вспомнить свою осень двадцать девятого — у каждого она была своя, а кончались они одинаково. Мезенцева не прерывала.

Трубка на сукне хрипнула и заговорила глухо, из погреба:

— Киров, значит. Это юг. Это оттуда всё и шло.

— Туда всё возили, — сказала Нина в трубку. — Теперь мы знаем куда. Это не одно и то же.

— Флот рассматривал два направления, — сказал Дымов, поднимаясь неторопливо. — Киров — одно из них. Доктор сэкономила нам месяц. Флот в экспедиции участвует: уполно-

моченный — я, конвой — шесть человек со старшиной, оружие и связь — как условлено на депо. Прошу записать: флот не претендует вести. Флот претендует доехать и услышать.

— Запишем дословно, — сказала Мезенцева, и карандаш её на секунду остановился.

— А если найдёте то, что нельзя нести в общий стол? — спросили с обходной скамьи. — Тяжёлое?

— Всё, что можно поднять, понесём в общем столе, — сказал Дымов. — Всё, что поднять нельзя, опишем. Флот умеет и то и другое.

Поднялся Кабанов. Он встал тяжело, по-хозяйски, и заговорил, глядя не на председателя, а в зал:

— Топливо — моё. Железо — моё, я его назад возьму, это в листе. Соль — моя. Значит, и спрашивайте с меня. Спрашивать буду и я. Люди в пути считают, вешают и записывают, а записей я чужим не доверяю. Мой человек — Тихонов Валерий, учётчик. Больно тихий — потому и беру: тихий считает дольше громкого. Опись складов — с его руки, при всех. Доля моя — после возвращения, при трёх сторонах, как решите. Я на юге чужих снов искать не нанимался, я хочу знать, что там лежит и сколько. Всё.

— Тихий — не кличка в списке? — спросила Мезенцева.

— Фамилия у него подходящая, — сказал Кабанов. — Тихонов. Сокращайте как хотите.

— Учётчик в списке — на чьей ответственности? — спросил Дымов, не поднимая головы: он писал.

— На моей, — сказал Кабанов. — Солярной.

— Запишем: человек Кабанова — ответственность Кабанова, — сказала Мезенцева.

По скамьям прошло, усмехнулось и село. Мезенцева ждала, пока стихнет.

— Условия сторон записаны. Вопросы Совета.

Трубка заговорила снова — медленнее, чем раньше, и Михаил вдруг понял, что усинский старшина свой вопрос готовил все эти два дня, с самой первой сессии.

— Мы в тридцать первом тоже слушали юг, — заговорил он. — Три недели слушали, и радио было живое, тёплое. А потом это радио к нам приехало — на своих ногах, с теми, кто его слушал и кто слушавших кормил. Четыреста человек — говорю по-бумажному, а по именам знаю двести сорок, потому что остальные прошли списками на дровяные накладные. Так что вопрос у меня один, экспедиции. Если вы там найдёте живых — вы их сюда повезёте?

В зале не было звука. Дымов смотрел на трубку. Кабанов смотрел на свои руки. Нина смотрела на стекло планшета, под которым лежал корешок с чужой аккуратной рукой, выводившей слово «культура».

— Запишем так, — сказала Мезенцева ровно. — Живых везут по решению Советов, не по решению экспедиции. Экспедиция докладывает. Совет решает.

— Значит, повезёте, — сказал старшина из трубки. — Как в тридцать первом. Усинск — против.

— Сосногорск, — сказала Мезенцева.

— За, — отозвался второй провод, молодой и злой. — С условием: первый дизельный состав с юга — нам. Топлива не дадим, людей не дадим, а за это — за.

— Воркута — за, — сказала Мезенцева о себе, как о станции, и постучала карандашом. — Два одному. Едем.

За дверью, в холодном тамбуре, коротко гулко шевельнулось — вздох, шёпот, шаги: бабы поняли раньше, чем успели объявить.

По проводу на Сосногорск и Усинск ушли зашифрованные радиogramмы с текстом решения и временем. Квитанции пришли через полчаса: Сосногорск прислал ещё список своего дизельного дефицита, Усинск прислал одно слово — «Против». Свою печать Мезенцева поставила трижды, дыша на медяшку, как дышат на замёрзший ключ.

Она перевернула лист и стала писать — быстро, наклонно, читая наизусть то, что писала:

— Порядок общего стола. Всё найденное экспедицией в пути и на месте — собственность Печорского Совета. Опись — в журнале находок, рука одна, Барсова. Копия описи — флоту в день снятия. Оригиналы, грузы и печати — в Воркуту. Вскрытие и делёж — после возвращения, при трёх сторонах. Самовольное вскрытие чего бы то ни было — конец экспедиции и трибунал Советов. — Она подняла голову. — Принято без возражений?

— Почти мои слова, — сказал Дымов.

— Ваши, майор, — сказала Мезенцева. — Мы их записали.

Зал усмехнулся по-настоящему, с облегчением. Кабанов кивнул с видом человека, чей товар взвесили при нём. Нина села и надела очки — руки у неё были заняты планшетом, и она не давала им дрожать, а может, они и не дрожали.

— Списки, — сказала Мезенцева. — Людской список — машинисту, до полудня завтра. Флотский — майору, сегодня. Учётчик Кабанова — в людской. Подписи под ведомостью — сейчас, по старшинству. Последняя — машинист.

Ведомость пошла по залу — лист в половину стола, с графами: топливо, железо, люди, сроки. Кабанов расписался размашисто, с нажимом, как ставят пломбу. Дымов — ровным, учебным почерком, без росчерка. Нина — мелко, сжато, в уголке графы. Старик с угольной скамьи подвёл итоги бочек — в его руке карандаш звучал как счёты.

Михаил подписался последним. Писал он редко и подпись свою помнил по накладным: «Савин» — коротко, размашисто, с хвостом вверх. Подписал, положил карандаш, и Мезенцева, принимая лист, на полсекунды придержала его — не по-канцелярски, по-человечески.

— Совет окончен, — сказала она в зал. — По местам. Топить.

Из ДК выходили в мокрый снег. Шёл теперь крупно, по-южному, и фонарь над крыльцом был обледелым шаром света. Спиридон шёл рядом с Михаилом молча, потом сказал — не ему, в снег:

— Я такого декабря отродясь не видал. В марте — видал.

— И что это значит?

— А ничего, — сказал Спиридон. — Просто записал.

У крыльца их догнала Нина — уже без планшета: планшет остался под сукном, у секретаря, с распиской.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь это слово стоит двадцать тонн, три печати и одну телеграмму.

— Какое слово?

— «Едем», — сказала Нина и пошла в снег, короткая, вся в пару.

В радиорубку Михаил зашёл за полночь — по пути, с ведомостной папкой под мышкой, отнести Киму копию людского списка. Ким сидел один, приёмник был прогрет, и Михаил понял, что застаёт его в середине дела, по выражению лица: у Кима было лицо человека, который ловит и не решается поверить.

— Садись, — сказал Ким шёпотом, хотя шёпот был ни к чему. — Волна та же. Цикл тот же. Только голос сегодня... долгий. Слушай.

На тумбочке, где в тот первый вечер лежала соляная грелка, теперь стояла новая, запаянная — Ким держал её для его руки, на всякий случай. Михаил увидел и ничего не сказал.

Он дал протяжку.

Шум. Помеха. И голос — ближе, чем все прошлые ночи, будто стену убрали:

«...пап... они не мёртвые зимой... они ждут...»

Морзянка легла поверх, крупная, служебная, и отрезала, как всегда, — но слово осталось в рубке, осталось висеть над лентопротяжкой, и Ким не смел его трогать.

Михаил стоял. Правая рука лежала на пульте, и он давил ею на край пульта — ровно, сильно. В рубке было жарко, а он мёрз.

— Писать? — спросил Ким.

— Пиши как слышишь. Без толкования.

Ким написал в журнал: время 00:41, волна та же, слова новые. Карандаш у него дрожал на букве «п», и он прижал его второй рукой.

— Двадцать лет в эфире, — сказал Ким в стол. — Я писал в журнал чужие свадьбы, чужие похороны и три южные войны. Слово «папа» пишу первый раз. Оно тяжелее всего, что я писал.

— Знаю, — сказал Михаил. — Пиши.

— В общий лист — пойдёт? — спросил он, не глядя. — В копию Совету?

— Копия — по порядку, — сказал Михаил. — Порядок есть порядок.

Он взял со стола чистый лист, сложил его вдвое и положил в карман бушлата — левый, внутренний. Ким видел — и не записал.

— Спать иди, — сказал Ким. — В шесть прогрев.

— Знаю.

Депо встретило его теплом и запахом остывающего металла.

Он прошёл вдоль состава с ручным фонарём — не проверять, а так, проститься с ночным покоем: передний таран, тёмная туша «Зубра», крытый с подвязанными дверями, гарь с остывшей печью, цистерны с кабановскими пломбами, задний таран. В голове сами собой прошли километры: сорок первый, Инта, Уса, Печора, Сосногорск, Микунь, Вятка. Последним прошёл мост — старый, пешеходный, весь в заклёпках. Михаил погасил фонарь: до него ещё надо было доехать.

«Зубр» стоял в среднем стойле, тёмный, укрытый брезентом до половины, и дежурный механик уже возился у его тележек с брезентовой же фонаркой. Михаил поднялся в кабину, зажёл малый свет.

На полке, у приборов, стоял валенок — серый, детский, с самодельной завязкой, поднятый на сорок первом километре. Михаил снял рукавицу, достал из-за пазухи тетрадь в клеёночато́й обложке — двести одиннадцать записей, четыре года — и положил её рядом с валенком, вплотную. Так и осталась полка: валенок и тетрадь.

Он сел на откидной диванчик — продавленный двумя поколениями машинистских спин — и посидел. Кабина двадцать лет была его домом, а с завтрашнего дня становилась чьим-то ещё: Егора, Кима, доктора, матросов, учётника. Он посидел — и встал.

Он постоял, выключил свет и сошёл вниз.

— Прогрев в шесть, — сказал он дежурному. — Выход — в шестнадцать.

— Записал, — сказал механик.

Михаил запер кабину — на оба замка — и ключ положил в левый карман, к глухому боку.

* * *

Глава седьмая. ОТПРАВЛЕНИЕ

Дизель будили в шесть утра, в темноте, которая ничем не отличалась от вечерней.

Грели по уставу: сперва картер — паяльными лампами, с двух сторон, по очереди; потом масло — кругами, пока не потеплеет на ощупь; и только потом воздух. Михаил стоял у пульта и вёл прогрев на слух. Егор был на подаче. Дизель взял с первой прокрутки, басом, сразу ровно — и Егор от радости двинул рукоять вперёд.

— Треть, — сказал Михаил, не поворачивая головы. — На холодной — треть оборотов. Масло должно сперва дойти до хвостовых подшипников, а не до твоего восторга.

— Есть треть, — сказал Егор и убрал обороты. Уши у него горели, и он был счастлив.

Состав обходили трижды: светом, руками и по журналу.

На головной сцепке за ночь вырос лёд — Егор сбил его обухом топора, и лёд разлетелся звонко, по-утреннему. Магистраль продули с хвоста: три удара по рельсу, сброс, ответ из головы — хвост услышал голову, значит, поезд был жив весь, от тарана до тарана. Печь в гари затапливали последней, за час до выхода: раньше нельзя — дым пойдёт над городом, а движения нет, приманка без поезда.

Тихонов появился с рассветом — в чистом, наглаженном ватнике, с конторской книгой под пазухой и карандашом на шнурке. Он шёл вдоль состава и считал. Цистерны — две. Пломбы — шестнадцать. Мешки соли на задней платформе — сорок, все защиты, все по счёту. У крытого вагона он остановился над ящиками, к которым не было описи.

— Два места без описи. Чьи?

— Науки, — сказал Михаил.

— Напишу «наука», — решил Тихонов и написал.

Флот грузился по-хозяйски, молча, в шесть пар рук. Карабины вошли в крытый в чехлах, с бирками, под опись старшины — Гроза принял их, пересчитал и опечатал бирку одной печатью, коротким нажатием, как ставят заклёпку. Следом матросы внесли окованный ящик — тяжёлый, тихий, на ремнях, флотской маркировки.

— Имущество флота, одно место, — продиктовал сам себе Тихонов и поднял глаза на Михаила.

— Пиши, — сказал Михаил.

Тихонов записал. Дымов стоял поодаль, в перчатках, смотрел, как ящик встаёт на своё место, и в лице у него не было ничего, кроме утренней усталости человека, который рано встал и всё успел.

Спиридон пришёл перед самым выходом — с картой под мышкой, той самой, свёрнутой трубой и перетянутой бечёвкой.

— Тайник обходчиков, — сказал он, отдавая. — Галереи, лазы, пешевые зимники, где что лежит и где чего нет. Мне её уже не донести. Тебе — надо.

— Принесу назад.

— Не обещай, — сказал Спиридон. — Карта доходит туда, куда доходит поезд.

И уже в дверях, не оборачиваясь:

— В Инте не спи глубоко. В Инте плохо спят.

Лена Одоевцева пришла с вещмешком и фанерным ящиком, на котором красный крест был нарисован заново, по старому следу.

— Пустая строка ещё у тебя?

— Ещё.

— Одоевцева. Хирург. — Она кивнула на юг, коротко и деловито. — В Кирове у меня мать.

— Строка твоя, — сказал Михаил и вписал фамилию в пустую строку.

Кабанов в депо не пришёл. За час до выхода привезли конверт, а в конверте — три строки карандашом: «Железо верни. Солью расплатишься у Усы. Остальное — как знаешь. У.» Михаил сложил записку и убрал в нагрудный карман — туда, где уже лежал сложенный вдвое лист со вчерашней записью эфира. Карман стал тяжёлым. Ладно. Не самый тяжёлый груз, который он вёз.

До выхода Ким прогнал полуденный сеанс, прямо из кабины, на новой рации.

— Маяк — Зубр: к выходу готов, питание с ходовой, приём чистый.

— Зубр — Маяк: принято. Выход по плану.

Ким снял наушники, переключил станцию на подзаряд от дизеля и сказал Егору:

— Теперь в кабине своя волна, помощник. Тронешь без меня — останешься без уха.

Проводов не устраивали. Город проводил по-своему: у депо стояли молча — угольщики со второй смены, тепличные, бабы с той, первой ночи. Никто не махал шапкой и не кричал «с богом» — на Севере так не делают, тут просто стоят, пока видят. Мезенцева прислала посыльного с копией ведомости за тремя печатями; посыльный отдал копию, козырнул не по-военному, а по-школьному, и убежал — у него был ещё весь город.

В шестнадцать ноль-ноль Михаил дал свисток — короткий, рабочий, без торжества. Таран качнулся. Состав натянулся, как повод, и поехал.

Огни Воркуты шли мимо неспешно, по-хозяйски: депо, водоканал, тёмные окна барачных с тёплыми печами, зарево ТЭЦ над крышами. Потом огни поредели. Потом остались два семафора — красный и зелёный, — а потом не осталось ничего, кроме снега впереди и двух фонарей состава, которые ели этот снег метр за метром.

На тридцать восьмом прошли мимо сетки-улавливателя — чёрное пятно понедельничной чистки, ровное, занесённое. На сорок первом, у кривой, Михаил сбавил и прошёл её на первой позиции, молча. Егор глянул на полку, где между приборами стоял серый детский валежок, — и не спросил.

Последний раз Михаил ехал этой дорогой пять лет назад — другим человеком и в другую сторону. Тогда путь был забит до последней нити: эшелоны, приоритеты, чужие пломбы. Теперь на всей дороге не было никого. Только они и снег.

На пятьдесят четвёртом километре, восточнее пути, в метрах в ста от насыпи, стоял стоячий. Один, в чистом поле — как телеграфный столб, только с плечами.

— Вижу, — сказал Михаил раньше, чем Егор открыл рот. — В вахтенный: один, восточнее, сотня, стоит.

Спиридон, не высываясь, отметил в вахтенном журнале. Стоячий не шевельнулся: минус тридцать делает с ними именно это.

Дальше пошло то, чего Михаил не мог вспомнить ни в одном декабре. Снег под колёсами не скрипел — шуршал. Вёрст через тридцать к югу Михаил на ходу потрогал наружный поручень — перчатка стала липкой. Спиридон в гари приложил ладонь к печной трубе, потом подошёл к кабине и сказал в приоткрытую дверь:

— Мокро. По-мартовски.

И больше ничего не сказал. Михаил тоже ничего не сказал. Но в вахтенном журнале вечером появилась строка, одна, без толкований: «15.12, от 54-го и южнее: наст мягкий, снег липкий, труба мокрая».

У заградительного семафора на восемьдесят втором километре Михаил остановил состав. Семафор был закрыт — пять лет никто его не трогал, и он держал, что было велено.

— Первый день не геройский, — сказал Михаил людям в гари. — Встали. Дозор — старшина, смена через два часа. Печи — на ночь. Вода — по норме. Разговоры — вполголоса.

Пужинали тем, что дал флот: сухой паёк, чай из гари, кипячённый на печной плите, с дымом. Егор ел и смотрел на дозорных у переднего тарана — тех самых, в полярках, — и было видно, что он впервые ужинает не в городе.

В полночь Ким дал сеанс.

— Маяк — Зубр: стоим восемьдесят второй, все живы, идём по графику.

— Зубр — Маяк: принято. Держите волну.

Михаил остался в кабине последним. Посмотрел на полку: валенок, тетрадь. За стеклом лежала темнота без единого огня — такой в городе не бывает.

— До Инты сто шестьдесят, — сказал он Егору. — Иди в гарь, учись спать на ходу. Дорога длинная.

ИНТЕРЛЮДИЯ I

(архивная выписка; лист подгнил по краю, гриф выцвел)

11.02.86. Лин. — стабильна, пасс. 3-сер. — не пробуждается сорок суток. Холод держит надёжнее формалина.

14.03.86. Телеграмма: программу свернуть. Всё живое — под замок. Хранитель назначен.

(на полях, карандашом, другой рукой:)

«Кто будет сторожем у зимы?» — Р.Ш.

* * *

Глава восьмая. ПЕРВАЯ НОЧЬ

Первую ночную смену Гроза взял себе.

Он обошёл состав по кругу — не спеша, заглядывая под каждый вагон, трогая руками всё, что можно было потрогать, — как обходят пост на корабле.

— Поле чистое, — доложил Гроза, поравнявшись с кабиной. — По кругу — никого. Слышу только печь и ветер.

— Сколько ветра?

— Тихий. На этой широте — тихий. Ветер тоже не тот.

Он ушёл в темноту, и шаги его растворились в ней без остатка, как это бывает у людей, которых учили ходить.

Печь в гари Спиридон придушил на ночь до синего, медленного огня — труба дышала редко, экономно, как дышит спящий. Вода пошла по норме: котёл гари, кружка на смену, остаток — под крышку. Михаил лежал на диванчике в кабине, одетый, в валенках, как учат, и слушал, как за стеной остывает дизель: сначала тихо пощёлкивало железо, потом и это стихло, и осталась одна тишина — размером со всё поле сразу.

Спалось плохо — не от холода и не от страха. От непривычки: пять лет он засыпал под голос города, под далёкий переговор семафоров, под чей-нибудь поздний свисток с сортировки. Теперь за стеной был только юг, и юг молчал.

Ким после полуночного сеанса из кабины не ушёл. Приёмник тянул от поездных батарей, и Ким считал минуты прослушивания, как считают последнюю соль: батарея в дороге дороже солярки. Но ленту — вчерашнюю, воркутскую, с голосом — гнать по батарее было можно, и он гнал её на самом медленном ходу, разбирая по слогу даже шум под голосом.

В сорок минут третьего он перестал писать.

Потом ещё дважды прогнал то же место — от щелчка до щелчка, меньше минуты. Сходилось. Он снял наушники, несколько секунд подержал их на коленях и тронул Михаила за плечо.

— Вставай. Слушай.

Лампа под потолком кабины горела вполнакала. Ким дал протяжку — тихо, чтобы не разбудить гарь.

«...Савин... воркутинский... машинист... если жив...»

Знакомый голос шёл сверху, ватный, тонкий. А под ним, глубже — глуше, ровнее, как говорят в соседней комнате через дверь, — лежал второй слой, мужской, и в нём, между двумя волнами шума, стояло:

«...ещё раз... и уходи с моста...»

Потом морзянка, как всегда, отрезала всё.

Ким остановил ленту и посмотрел на Михаила. Михаил смотрел на лентопротяжку. В кабине было слышно, как в гари, сквозь две стенки, возится печным железом Спиридон.

— Писать? — спросил Ким.

— Как слышишь.

Ким написал в журнал: «03:05. Второй слой. Мужской, глухой, обрывок — дословно». Подумал и добавил время первой находки: «02:40». Закрыл журнал, убрал ленту в короб, вырубил вторую лампу. Ни один из них не сказал ни слова о том, что это может значить, — не потому что не думали, а потому что в журнале для этого нет графы.

— Ложись, — сказал Ким. — Я подежурю до четверти шестого, тебя подниму.

— Спи сам. Я уже выспался за пять лет.

Ким не стал спорить. Пока грел лампы к полуденному сеансу, он держал на настройке флотскую волну: Мурманск шифровался всю ночь — короткие ровные группы, метроном, ни

слова, ни имени, ни адреса. Ким записал в журнал одну строку — «флотская волна жива, содержания нет» — и переключил приёмник на заряд.

Перед рассветом — если это время можно было называть рассветом — Михаил обошёл состав ещё раз, уже по-своему: не как моряк, а как путеец. Иней за ночь вылез на всё железо: стойки тарана обросли серым бархатом, поручни — белым горохом. Иней был жирный, липкий; при настоящем декабрьском морозе иней сухой, он осыпается от прикосновения, как соль. Этот — прилипал к рукавице и тянулся за ней.

У переднего тарана дежурил молодой матрос с кружкой. Михаил кивнул на кружку:

— Давно налил?

— На смену, в час.

Чай в кружке стоял живой, без корки. Оба посмотрели на чай, потом друг на друга, и матрос сказал то, что положено было сказать:

— Морозец-то не строевой.

— Записано, — сказал Михаил и пошёл дальше.

В гари Спиридон уже топил утреннюю закладку. Тихонов стоял рядом с конторской книгой, развёрнутой на графе «расход дров».

— По листу — шесть, — говорил он ровно, без злобы, как говорят арифметику. — Шесть поленьев в час растопки. Это норма на плюс двадцать внутри.

— Шесть — это не печь, это примус, — возражал Спиридон, укладывая поленья шатром. — Дашь восемь — догоню днём, и до полудня не подходим. Не дашь — весь день будем догреваться чужим паром.

— Восемь — не по листу.

— А дорога — не по листу.

Они сказали это одновременно — оба тихо, оба упрямо, — и оба посмотрели на Михаила, потому что к этому моменту уже знали, кто в поезде решает такие споры.

— Восемь, — сказал Михаил. — Расход — по решению машиниста.

— Я так и запишу, — сказал Тихонов и записал: «восемь, по решению машиниста». Он записывал всё. Спорил он редко, и это было в нём самое неприятное.

Нина появилась на насыпи с термометром и полевой тетрадью — первая утренняя выкладка. Егор пошёл за ней с фонарём, не спрашивая: фонарь был его обязанностью, и он эту обязанность уже выучил.

— Минус двадцать два, — диктовала она себе, дыша на цифры. — Ветер — слабый. Иней на металле — жирный, липкий, нарастает за ночь. Снег под ногами — мягкий, звук глухой.

Она присела у рельса, поскребла головку ногтем, потом костяшкой пальца.

— Наледь. В выемке — стекло, два-три пальца. При двадцати двух иней — сухой. Наледь в тени — не держится. А тут...

Она осеклась на середине вывода, посмотрела на Егора, на фонарь, на собственную тетрадь — и просто записала цифры. Егор смотрел на неё с уважением человека, который сам так и не научился останавливаться вовремя.

Дымов вышел из крытого вагона, постоял на стуже без рукавиц, послушал утро, посмотрел на юг — коротко, по-хозяйски, как смотрят на работу, которую предстоит сделать, — и вернулся внутрь. Всё.

К половине восьмого прогрели дизель. Егор стоял на подаче и, когда масло пошло кругами, сам, не дожидаясь, убрал газ:

— Треть.

— Треть, — подтвердил Михаил.

— Я теперь помню, — сказал Егор с достоинством.

— Теперь помнишь. Вчера тоже помнил — до первого оборота.

Наледь после вчерашнего мокрого снега схватилась за ночь везде, где была тень: выемка перед семафором, метельник у переезда, сама стрелка горловины. Работали скребками и лёгкими ломиками, полчаса, в четыре руки, молча; песочницы зарядили доверху — Спиридон таскал песок вёдрами с насыпи, и Тихонов, не спрашивая никого, поставил в книге галочку: «песок — по факту». Нормы на песок у него не было, и это его огорчило.

Трогались осторожно. Михаил дал песок под первые оси, отпустил тормоз на треть — состав пошёл, как по мылу: не упирался, не катился, ехал боком, весь, от тарана до тарана. Егор втянул голову в плечи. Михаил прибавил песку, держа рукоять, как держат поводья на чужой лошади, и на третьей сотне метров состав нашёл рельс, взял его — и поехал: тяжело, ровно, по-рабочему.

— Ну, — сказал Михаил в стекло. — Вот и дорога.

Семафор на восемьдесят втором остался за спиной в закрытом — стоял, как стоял, и провожал их, сколько мог. Потом его съела темнота, и остались столбы — восемьдесят четвёртый, восемьдесят шестой, девяностый, — один за другим, ровно.

Егор глянул на полку — там, между приборами, стояли валенок и тетрадь.

— Не смотри на полку, — сказал Михаил, не оборачиваясь. — Смотри на путь.

— Я смотрю.

— Вот и хорошо.

* * *

Глава девятая. ВЯЗКИЕ

Первый занос взяли на сто шестом.

Ветер намёл его ещё в тёплые дни, а мороз застолбил поперёк выемки, в полтора человеческих роста, — и снегоочистителя у экспедиции не было. Были лопаты, «Зубр» и правило — не давать машине биться. Работали полчаса: матросы и сцепщики копали, Михаил вёл тепловоз внатяг, снимая снег грудью тарана, — и на каждом литре солярки, что уходил на это, Тихонов ставил в книге маленький крест.

Дальше пошли по наледи. Тени выемок держали стекло от вчерашнего мокрого снега, солнечных мест не было — полярная ночь, — и Михаил вёл по песку: песочницы шипели на спусках, состав шёл ровно, только тише, чем вчера.

Егор сидел у приоткрытого бокового окна и слушал стыки. Это была его работа — слушать: каждый стык бьёт по-своему, и хороший стык молчит. На сто восемнадцатом он вдруг поднял руку — жестом, не голосом:

— Стучит. Левый борт, второй от меня... нет, третий.

Михаил кивнул, запомнил. На сто двадцатом остановились, нашли: накладка недотянута, палец на две нитки. Подтянули на холоде, в четыре руки, по очереди грея ключ пазухой.

— Ухо есть, — сказал Михаил.

— Теперь есть, — сказал Егор.

В полдень Ким дал сеанс, не выпуская из руки карандаша:

— Зубр — Маяк: сто двенадцатый, идём, чистим, все живы.

— Маяк — Зубр: принято. Держите волну.

На сто сороковом дорога нырнула в длинную выемку, и там, в свете двух фонарей, они увидели их впереди.

Пятеро. Шли навстречу — вдоль самого пути, по снегу, — шли, как идут стоячие: не разбирая дороги, сутуло, на полусогнутых, с деревянной ровностью, от которой у живого человека сводит скулы. Шаг у них был не шаг — перестановка ног: переставил, застыл, переставил. Полкилометра в час, может, километр.

Шли. Не стояли.

— Вот так, — сказал Спиридон негромко, с подножки. — Я вам про рваную-то зиму говорил.

Михаил остановил состав за триста метров и заглушил дизель. Тишина легла на выемку целиком, как крышка, и в тишине стало слышно их шаги — не хруст, не скрип: глухое, размеренное шарканье, будто волокли мешки.

Он оглянулся. Гроза уже был на таране, с пикой; за ним — двое матросов. Дымов поднялся на платформу спокойно, поправил карабин за спину и стал, как становился всегда: чуть позади, чуть сбоку, наблюдатель на чужой работе.

— Работаем по правилу, — сказал Михаил вполголоса. — Стрелять не будем. Малым ходом, клином; кто у насыпи — сверху, пиками, под откос. Тихо. Совсем тихо: железо далеко слышит.

Состав тронулся на первой позиции, почти пешком. Вязкие не видели света — они слышали, и они шли на него, уже не скрывая направления: пятеро развернулись к тарану, как разворачиваются на оклик.

Первого клин взял мягко — как берут плечом дверь: сухое тело отлетело под откос и осталось там сидеть. Дальше пошло без счёта: кто шёл по оси — снимал клин, кто жался к насыпи — пика сверху, толчок под ключицу, откос. Работа была тяжёлая, тесная и злая, как всякая работа, которую нельзя делать ни быстро, ни громко; пар от дыхания стоял над тараном столбом.

Егор смотрел из кабины. Он держался правильно — пока из-за бровки правого откоса, куда с пути видно не было, не поднялось ещё трое.

— Палыч! — крикнул он в открытое окно, дёрнувшись всем корпусом. — Справа, ещё трое!..

И тут же, услышав собственный голос в тишине, осёкся — но было поздно: звук пошёл по железу, и железо понесло его во все стороны сразу. Трое из-за бровки повернули на крик — не быстро, ровно, неотвратно.

— Спокойно, — сказал Михаил. — По ближнему. Спиридон!

Спиридон уже был там. Он не бежал — обходил по насыпи, с крюком, снизу вверх, со стороны откоса, и когда ближайший вязкий переставлял ногу на голос, Спиридон взял его крюком за ворот и уложил под откос, одним поворотом, как укладывают подпорку. Второго снял матрос. Третьего — клин: Михаил подвёл таран на полметра, и всё кончилось.

Десять минут от силы. Ни выстрела. Восемь тел лежало под откосом выемки, и пар над платформой медленно оседал.

Егор стоял в кабине белый. Спиридон поднялся по скобам, заглянул в окно, посмотрел поверх его головы.

— Железо слышит, стажёр, — сказал он без злости. — Теперь знаешь.

— Теперь знаю, — сказал Егор.

Спиридон кивнул и ушёл досматривать откос.

Нина вышла с часами и термометром, когда тела ещё не остыли — если к ним вообще применимо было это слово. Она работала быстро и молча: время, температура, состояние каждого — суставы, шея, ступни.

— Минус четырнадцать, — диктовала она себе. — Час тридцать пять. Все восемь — на полусогнутых, затылки деревянные. Идут, застывая: двое за время работы перестали переставлять ноги — стоят на откосе... — Она выпрямилась и сказала уже людям, но коротко: — Такого в декабре не бывает.

И записала это в журнал — каждую цифру, каждый вывод, ровным лабораторным почерком.

Тихонов свою работу начал после неё. Он обошёл клин тарана со всех сторон, как обходят больного, пощупал пакет, простучал костяшками уголок, полез с фонарём под портал.

— Пакет повело, — доложил он ровно. — Две шпалы с трещиной, уголок отогнут на палец. Правка — кувалда и стяжка, час, можно на месте. Расход за прогон с тремя торможениями и чисткой — полбочки сверх листа.

— Записал?

— Записал. — Он открыл книгу, вывел на чистой полосе сверху: «Счёт дороги» — и под этой полосой поставил первую строку. — Дорога начала брать.

Час правили клин. Спиридон и матросы работали кувалдой попеременно, Тихонов светил и считал удары, Михаил сидел на насыпи и смотрел на юг, в выемку, — восемь тел под откосом, ровный ряд, и дальше пустые рельсы, уходящие в темноту.

Кровь нашёл Спиридон.

Он досматривал откос — обходчика учили досматривать, — присел над последним, тем, что шёл третьим из-за бровки, и окликнул негромко:

— Михаил Палыч. Иди сюда. И доктор пусть идёт.

На плече ватника, у ворота, расплывалось тёмное пятно с багровой кромкой. Спиридон повёл по пятну черенком крюка: корка сверху схватилась, но под коркой пятно подавалось, как подаётся замёрзшее сверху варенье.

— Не его, — сказал Спиридон. — У этого горло чистое, рваного нет — а кромка багровая, не почернела. Кровь эта из живого шла. Недавно: часа не стояла.

Нина присела рядом, работая быстро: платок, нож, проба в пробирку из внутреннего кармана тулупа.

— По всему — человеческая, — сказала она через минуту. — Свежая: сверху схватилась, внутри не промёрзла. Такому час, может — три, не больше. — Она подняла глаза на Михаила. — Все восемь шли вдоль нитки, на север — на нас. Кровь не их. Значит, живой человек был здесь. Недавно. Раненый или...

Она не договорила — записала. В журнале находок, на первой странице, появилась первая строка экспедиции: «№1. 16.12, 14:50, 140-й км, выемка: на одежде вязкого — кровь человеческая (по полевому осмотру), свежая, не носителя. Группа — вдоль пути, в северном направлении. Рядом был живой человек, недавно».

Подошёл Дымов. Посмотрел на пятно, на пробирку, на ряд тел под откосом — всё так же спокойно, без единого лишнего движения.

— Первая находка, доктор, — сказал он. — Не поздравляю.

И отошёл к своему вагону.

Михаил стоял над откосом и смотрел на юг. Кто-то живой и раненый был здесь — на этой же нитке — часы назад. Может — вчера. Может — этой ночью, пока они стояли на восьмьдесят втором и слушали ленту.

— Записано? — спросил он.

— Записано, — сказала Нина.

— Едем.

* * *

Глава десятая. ПЛОХО СПЯТ

Михаил ждал зарева с того увала, где дорога пошла на подъём, — и зарева не было.

Он пять лет подъезжал к городам только с севера, только к своему, и отвык, что город может не светиться. Воркута издали — это ржавое тепло над крышами, дымная шапка, зарево на снегу. Здесь, над южным увалом, светилося только небо — звёзды, луна в четверть, снег. А под ними, в двух десятках километров, стоял город, и его не было видно.

Не видно было — а он был. Дорога пошла по высокой насыпи, и на юге, поверх чёрной кромки леса, обозначились трубы — четыре, пять, шесть, — и террикон, различимый только по срезу против звёзд. Ни огня под трубами. Ни света в них. Ни движения.

— Окна тёмные, — доложил Гроза с тарана, в бинокль. — Фонарные столбы вдоль шоссе стоят. Фонарей нет. Огней — ноль, товарищ машинист.

— Движение?

— Никакого. Снег над крышами лежит ровно. Ни проталин, ни троп.

Михаил прибавил ходу. Состав шёл к городу, и город приближался — трубами, мачтами, длинным корпусом какого-то цеха на склоне, — и чем ближе, тем меньше его было. Это было в нём самое скверное: он не рос при подходе, как растут живые города. Он просто стоял, тёмный со всех сторон, и молчал.

Пахло снегом. Только снегом. Город издали всегда пахнет собой — углём, дымом, мокрым железом; так пахла Воркута, так пах, наверное, и Киров, если когда-нибудь они до него доедут. Инта не пахла ничем.

У входного семафора, за десять километров до станции, Михаил остановил состав.

Сошёл на насыпь, постоял. Дорога отсюда уходила вниз, к горловине, — и дальше, в город, теряясь в темноте, где свет фонарей доставал на два пролёта, не дальше. Спиридон встал рядом, кутаясь; из гари пахло печным теплом, и снег вокруг трубы был тёмный, рабочий.

— Ну? — сказал Спиридон.

— Ночью не идём, — сказал Михаил. — Не из-за страха — из-за глаз. Пути пять лет не шупаны. Стрелки в горловине какие — неизвестно. Наледь с вечера — стекло. Поедем по чужой горловине в темноте, на ощупь, с составом на хвосте — это не смелость, это счёт Тихонова. Днём, в сумерки, войдём: там два часа серого света — посмотрим и решим.

— А сейчас?

— А сейчас стоим. Дозор — двойной. Печь — на ночь. И чтоб тихо было, как в церкви: без нужды ни звука.

Дымов, стоявший у крытого вагона, выслушал это, кивнул — коротко, по-флотски — и ушёл к себе. Он не прибавил к решению ни слова. Эту привычку Михаил уже начал узнавать: майор экономил слова, как Ким — батарею.

Становились на ночь молча, по накатанному: печь придушена, вода по норме, дозорные пары разошлись — одна пара у семафора, лицом к городу, другая — вдоль состава. Егор получил свой пост: кабина, окно на юг, фонарь — гасить.

— Что слушать? — спросил он.

— Всё, — сказал Михаил. — Город — что лес: когда молчит — хорошо слышно, что в нём есть.

Ужинали в гари, по-походному: сухой паёк, чай с дымом. Тихонов за столом подвёл день: пробег, расход, кресты на соляре — и, закрыв книгу, сказал то, что говорил, кажется, впервые за дорогу без цифры:

— Тихо тут.

— Привыкай, — сказал Спиридон.

В полночь Ким дал сеанс из кабины, вполголоса:

— Зубр — Маяк: двести тридцатый, стоим перед Интой, все живы, идём по графику.

— Маяк — Зубр: принято. Держите волну.

И снова стало тихо.

Ночь была самая длинная на памяти Михаила — не по часам, по устройству. Городская ночь всегда звучит: хоть печью, хоть веткой под окном, хоть дальним составом, хоть собакой на третьем дворе. Воркута все эти годы гудела под боком — котельными, обходами, своим семафорным переговором, — и Михаил давно перестал это слышать, как перестают слышать собственное сердце. Инта молчала — вся, сразу, до донышка, — и от этой полноты тишины у людей в гари сами собой падали голоса до шёпота.

Михаил не спал. Дежурил у печи с Ниной — смена шла за сменой, и на их смену выпал второй час после полуночи.

Нина сидела на лавке с тетрадью и термометром, времени не теряла.

— Минус восемнадцать, — сказала она. — Стоит. С одиннадцати вечера — падения нет. — Она посмотрела на термометр, как на свидетеля. — Опять не то: ночью должно уйти за двадцать. Не уходит.

— Записала?

— Записала. — Она перевернула страницу. — Завтра в депо заночуем?

— Если депо есть. Если нет — здесь, на горловине.

— Стрелки кто щупать будет?

— Я и Спиридон. Егора возьмём на третий день, если... — Михаил осёкся и закончил просто: — Возьмём.

— Хорошо. — Нина дописала, закрыла тетрадь и сказала то, что думала, видимо, часа два: — Тихо-то как. В Воркуте и то не бывает так. Там хоть кот где-нибудь, хоть печная труба...

— Привыкай, — сказал Михаил.

Они помолчали. Печь гудела ровно, низко. За стенами гари стояла тишина размером с город, и в ней — далеко, на самом краю слышимости — изредка оседал под собственной тяжестью снег с крыши крытого вагона: мягкий толчок, вздох, тишина.

Ничего другого не было.

К третьей смене дозора Михаил поднялся к себе в кабину, лёг на диванчик одетым и стал слушать город через приоткрытое окно — без надежды услышать и именно поэтому слушаая. Под утро его сморило.

Разбудил его Егор — не тронув, просто голосом, которым говорят в болезни:

— Палыч. Слышите?

Михаил сел. Не спросил «что» — сначала слушал.

Сначала казалось — ветер. Но ветер шёл слабый, поперёк насыпи, гулял в проводах вразнобой, а этот звук шёл с юга, из города: широкий, слитный, из множества шагов — и ни одного отдельного шага в нём нельзя было различить.

Звук нарастал, пока не заполнил всё — щели кабины, железо, подошвы валенок. Ни голоса в нём, ни стука, ни одного шага отдельно — только много, сразу, слитно.

Дозорные стояли на постах не шевелясь. Гроза — у семафора, лицом к городу, руки на ремне. Матросы — вдоль состава. Дымов вышел из вагона и стоял, подняв голову, — чуть позади всех, чуть сбоку.

Длилось это минуты две, может три. Потом стало стихать — слоями: сначала ушла ширина, потом глубина, потом ровность; от огромного остался шёпот, а от шёпота — ничего.

И ничего не осталось. Город стоял на месте — тёмный, ровный, целый, со всеми своими трубами. Снег над ним не дымился. До серых сумерек было ещё далеко.

Спиридон вышел из гари, подошёл к кабине, посмотрел на город, как на старого знакомого.

— Говорил, — сказал он. — Плохо спят.

Михаил слез с диванчика, достал вахтенный журнал и записал — коротко, как пишут телеграммы:

«17.12, под утро. Гул из города. Один. Продолжительный. Причин не установлено».

Это были все слова, которые они пока нашли про Инту.

* * *

Глава одиннадцатая. 07:40

После гула больше никто не спал.

Ким не спал и до него. Он сидел в кабине с журналом приёма на коленях и, когда Михаил слез с диванчика, сказал ему первое, что полагалось сказать:

— Я его записал. По времени.

— Ну?

— Начался в семь тридцать четыре. Кончился в семь сорок три. — Ким перевернул журнал, показал столбик. — Я вёл пометки, как только он пошёл. Ошибка — минута, не больше.

Михаил посмотрел на столбик. Девять минут. Большой город двигался девять минут — и остановился.

— Семь сорок, — сказал он вслух, просто чтобы услышать.

— С чем-то, — сказал Ким. — Если надо до секунды — не надо: у меня не лаборатория, у меня кабина.

Егор сидел на своём посту, у окна, и смотрел на юг. Он не говорил «я первый услышал», хотя слышал первым и все это знали. Он вообще не говорил — только смотрел, и в темноте кабины было видно, как у него двигаются губы: он пересчитывал что-то своё.

За стеной, в гари, гремели ведрами: разливали кипяток. День начинался, как любой день экспедиции: вода по норме, печь с утра растоплена на восемь поленьев, Тихонов открыл книгу на графе вчерашнего дня и подвёл её чертой. Нина вышла с термометром первой:

— Минус семнадцать. Стоит, — сказала она в пространство и записала.

Михаил собрал их всех у гари — как собирал всегда, коротко, по-рабочему.

— Иду к горловине. Стрелки шупать. После такого — шупать надо глазами, не руками: если это ходит, оно ходит куда-то. Посмотрю — куда.

— Возьмите людей, — сказал Гроза. Это был не вопрос.

— Двоих, — согласился Михаил. — С тобой. Не дальше ста метров от меня, я знаю.

— Я готов, — сказал Спиридон, застёгиваясь.

— Я тоже... — начал Егор.

— Ты — слушаешь, — сказал Михаил. — Здесь. У вас с Кимом смена: всё, что услышите из города — время в журнал. Всё. Даже если это будет ветер. Особенно если это будет ветер.

Егор сжал челюсти, но кивнул. В который раз он понял, что работа у него в этом поезде не из простых: не идти первым, а слышать и молчать, пока не спросят.

Дымов выслушал план молча, посмотрел на небо, на юг, на свои перчатки.

— Флот посмотрит здесь, — сказал он. — При поезде кто-то должен остаться.

Никто не нашёл, что ответить, и идти было всё равно надо.

Шли по насыпи, вчетвером — Михаил, Спиридон, Гроза и матрос с фонарём-«летучей мышью», фонарь не зажигали: луна в четверть и снег давали идти. Позади, у состава, остался свет малых фонарей и пар над гарью; впереди стояла темнота с трубами. До горловины было километра четыре, и Спиридон вёл их по ней, как по своему двору: «Здесь — кривая, держи левее. Тут переезд, настил гнилой, мостки правее».

Стрелки оказались на месте. Все семь. Замёрзшие намертво, вросшие, с рычагами, которые не шли ни вниз, ни вверх — Михаил налёг на первый рычаг, потом взял лом, поддел, и рычаг застонал и поддался на четверть. Хватит. Стрелку такую в дело вводить — только с паром и с кувалдой, при свете, не сейчас.

— Номера запишите, — сказал Михаил матросу. — Все семь. Тихонов просил: у него графа пустая.

У крайней, седьмой стрелки, насыпь пошла выше — и город открылся.

Он лежал внизу, в лунной сетке улиц, — длинный, тёмный, изрезанный снегом по крышам. И Михаил увидел то, зачем шёл, раньше, чем понял, что видит: снег в городе был неодинаков. Везде он лежал ровно, голубовато, по-кладбищенски — а от вокзала, вниз, к длинному тёмному корпусу с трубами, через весь город тянулась широкая полоса, вытоптанная до земли. Не тропа — дорога. Голый, утоптаный, бугристый лёд шириной с улицу, накатанный многими зимами, уходивший от вокзальной площади к воротам длинного корпуса и там заканчивавшийся — широкой утоптанной площадкой перед закрытыми воротами.

И на этой площадке стояли.

С высоты насыпи, с километра, они были похожи на тёмный строй у забора — длинный, плотный, ровный, лицом к воротам. Сотни. Может, больше. Строй не двигался. Они стояли так плотно и так ровно, как стоят не люди: люди так стоять не умеют, у людей переминаются, переступают, ищут глазами.

— Строй стоит, — глухо сказал Гроза, не опуская бинокля. — Подтягиваются. По одному, из города.

Михаил пригляделся. По вытоптанной дороге, из глубины города, к строю медленно шли ещё — не вместе, по одиночке, редко: тёмная фигура, пауза, ещё фигура. Шли вязко, вразвалку, на полусогнутых, как шли вчера те, восемь; доходили до строя, вливались в него — и останавливались, и строй смыкался за ними, как вода.

Снег скрипел под ветром. Ветер шёл поперёк, относил звук их дыхания в сторону от города.

Михаил достал часы. Карманные, с тяжёлой крышкой. Открыл: без четверти девять.

Движения — того, большого, слитного — уже не было. Оно кончилось в семь сорок три, час назад, где-то здесь, у этих ворот. Остались стоящие — и те, кто дотягивался к ним поодиночке.

— Товарищ машинист, — тихо сказал Гроза. — Доложить по форме?

— По форме, — сказал Михаил. — Стоят. Сотни. Движение — одиночное. Что-нибудь ещё?

— Есть, — сказал Гроза и помолчал. — Ограждение перед ними открыто. Ворота — закрыты. Стоят перед закрытыми воротами.

Никто ничего не сказал. Спиридон стоял рядом, кутаясь, и смотрел вниз, на вытоптанную дорогу.

— Уходим, — сказал Михаил. — Насмотрелись.

Назад шли быстрее. Никто не оглядывался — не потому, что не хотелось, а потому, что на кривой насыпи в темноте оборачиваться не следует: сначала ноги, потом любопытство.

Кима они застали в кабине, над журналом.

— Было ещё, — сказал он. — Без четверти девять — без десяти. Тихо, слабо. Мы с Егором вдвоём слушали.

— Это одиночки дотягивались, — сказал Михаил. — Мы их видели.

Он сел, помассировал ладонью лицо и попросил:

— Давай всё, что у тебя. Времена. Все.

Ким дал. Нина села рядом с журналом находок и записала под его диктовку — вторую строку экспедиции, ровно и коротко:

«№2. 17.12, 07:34–07:43: гул из города, слитный. 08:45–08:55 (наблюдение с горловины): у ворот комбината стоят сотни; подтягиваются одиночные, вливаются и замирают. Движения большого нет. Причины не установлены».

Она закрыла журнал, и тут Михаил сделал то, чего от него не ждали: достал с полки свою тетрадь в клеёнчатой обложке — ту, что стояла рядом с валенком, — и раскрыл её на первой странице. Подвинул к Нине.

Нина прочла. Прочла ещё раз. Его почерк, мелкий, машинистский: «Подход к сетке — под утро. Седьмой раз подряд».

— Четыре года, — сказала она тихо. — Под утро.

— У нас — под утро, — сказал Михаил. — У них — под утро. Это всё, что я знаю.

— Совпадение.

— Возможно.

— Запишем и совпадение, — сказала Нина и приписала внизу страницы, в журнале, третьей строкой: «Для проверки: подходы к сетке-улавливателю (Воркута, 2031–2034) — под утро, по записям М. Савина».

Спиридон, слушавший это со своей лавки у печи, не сказал ничего. Он вообще в это утро не сказал ни слова — и это было в нём самое громкое.

В полдень Ким дал сеанс:

— Зубр — Маяк: двести тридцатый. Стрелки горловины проверены, вход после сеанса. Все живы.

— Маяк — Зубр: принято. Удачи.

Сумерки пришли в час — серые, северные, долгие. Город внизу так и не зажётся и в сумерках стал просто тёмным полем с трубами, но вытоптанная дорога в нём была видна и сверху: голая, тёмная, прямая — как река, в которой остановилась вода.

Михаил собрал людей у «Зубра», коротко:

— Входим. Порядок: малый ход, я и Спиридон — вперёд на подножках, Гроза — на таране. До депо — не останавливаться, не гудеть, по сторонам не тыкать. Что увидим — записываем, время — с Кимом. Вопросы?

Вопросов не было.

Он поднялся в кабину. Егор уже сидел на своём месте, у окна, с журналом на коленях и карандашом в руке — готовый.

— По местам, — сказал Михаил и взялся за рукоять. — Пошли.

* * *

Глава двенадцатая. САНЬКА

В горловину вошли в час, на малом ходу, с Кимом у рации и Спиридоном на подножке.

Стрелки обливали кипятком из двух вёдер — грели понемногу, по одной, и рычаги, стонувшие утром, стали подаваться. Состав шёл через город шагом, и город шёл мимо: тёмные окна рядами, тёмные подъезды, тёмные провалы переходов. И стоячие.

В городе они не шли — стояли. В проёмах дворов, в витринах брошенных магазинов, у подъездов, в горловинах переулков — по одному, по двое, неподвижно, инеем по плечам, как ставят в кладовых вещи, которые до весны не понадобятся. Ближайший стоял в двадцати шагах от пути, у афишной тумбы, лицом к ней. Состав прошёл — светом, теплом, железом — а он не шевельнулся, даже головой.

— Дневной мороз держит, — сказал Спиридон с подножки, негромко. — Несильно морозит — а держит.

Вытоптанная дорога, сверху бывшая линией, вблизи оказалась руслом: голый лёд в две борозды, накатанный, бугристый, с наледью по краям. Она вела от вокзала вниз, под горку, к комбинату — и расходилась по городу нитями потоньше: переулками, проходными, тропками к каждому длинному корпусу. Дороги у них тут были свои, накатанные давно, и состав ехал теперь по городу, который был расчерчен изнутри — только без краски, без знаков, голым топтанным льдом.

— Дальше обычного дошли, — сказал Спиридон, глядя на юг, где тропы уходили к выездным путям. Только и сказал.

Депо нашли по плану Михаила — дальше кольцо, за вокзалом. Ворота депо были выше воркутинских и мёртвее: иней лёг на створки изнутри, замок врос в дужку, и створки сошлись не до конца — осталась щель в локоть, забитая снегом, плотным, слежавшимся.

— Снег в щели — старый, — сказал Гроза, тронув его штык-ножом. — Год минимум никто не входил и не выходил.

— Значит, внутри не наметено, — сказал Михаил. — Вскрываем.

Вскрывали ломом и кипятком, по куску, чтобы не хлопать железом. Щель расширили до пролёта, «Зубр» толкнул створку плечом тарана — и депо приняло их: тёмный корпус с двумя эстакадами, ямой, стеллажами; иней на всём, как седина; тишина, в которой был слышен каждый шаг по бетону.

Михаил стоял в воротах и слушал пустое депо. Депо было мёртво — он готов был поклониться, знал эту тишину, —

— Дышит, — сказал Егор.

Все стали.

— Где?

— В яме. Слева, под лотком. — Егор стоял неподвижно, с закрытыми глазами. — Живое. Часто.

Михаил и Гроза пошли к яме — медленно, вразвалку, как ходят в гостях у чужой собаки. В глубине осмотровой ямы, под деревянным лотком, наваленным на мешки, что-то было. Гроза присел на корточки, заглянул — и поднял голову, и лицо у него сделалось молодым.

— Живой, — сказал он. — Ребёнок.

Мальчика вынимали из ямы всем составом, как вынимают занозу. Лет одиннадцати, в трёх свитерах, один поверх другого, с лицом, съеденным холодом, с обмороженными щеками и запёкшимися губами. Он не вырывался и не помогал — весил, как пустой, и смотрел на всех сразу, не поворачивая головы. Он не закричал, не заплакал, не спросил ничего. Когда его поставили на бетон депо, он стоял на ногах секунды три — и стал заваливаться, и его подхватили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.